

М. ГОРЬКИЙ



Б И Б Л И О Т Е К А П О Э Т А

Малая серия № 62

М. ГОРЬКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

*Вступительная статья,
редакция и примечания
Б. С. Мейлаха*

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

1947

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящий выпуск, завершающий первое издание малой серии «Библиотеки поэта», посвящен основателю этого издания М. Горькому.

Сборник содержит три раздела.

В первом разделе помещены стихотворения, печатавшиеся Горьким в качестве самостоятельных произведений. Поскольку сборник задуман как собрание избранных стихотворений, сюда вошло только опубликованное самим Горьким.

Во втором разделе сборника печатаются произведения, представляющие собой особый горьковский жанр «рассказ-поэмы» («О чиже, который лгал, и о дятле, любителе истины», «О Маленькой фее и молодом чабане»), где соединены проза и стихи.

В третьем разделе собраны некоторые из стихотворений, содержащихся в повестях, рассказах и драмах Горького, где они несут, главным образом, функцию характеристики героев. В тех случаях, когда такие стихи органически включены в текст и не могут быть поняты иначе, они даются

в контексте с прозой. Полностью приводятся здесь две из «Русских сказок», направленные против декадентской поэзии.

Краткие справки об истории печатаемых стихов, а также о персонажах горьковских произведений отнесены в примечания.

ГОРЬКИЙ И ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

I

Известно, что М. Горький, творчество которого составило целую эпоху в развитии русской художественной прозы, с большой сдержанностью, а иногда и суровостью говорил о своих поэтических произведениях. Не отрицая, что он «стихи писал и не мало писал» на протяжении всего творческого пути, Горький называл себя, однако, «правдоверным прозаиком». И. Груздев вспоминает: «О своем необоримом влечении к стихотворству он говорил несколько виновато, как человек, который урывает минуты служебного времени на свое частное дело».¹ Немало своих стихов Горький безжалостно уничтожил, отводя ссылки на необходимость их историко-литературного изучения.²

¹ И. Груздев, Горький и его время, т. 1, 1936, стр. 506.

² В. Десницкий, Горький (Очерки жизни и творчества), 1940, стр. 83—84.

Все это, казалось, должно поставить каждого автора статьи о поэтическом творчестве Горького в затруднительное положение: соотношение между поэтом и критиком оказывается обратным тому, которое Пушкин провозгласил в стихотворении «Поэту» («Ты сам свой высший суд...»). Однако следует учесть, что в оценке Горьким своих стихов сказалось не только трезвое отношение к недостаткам ранних опытов (ведь отдельные стихотворения периода творческой зрелости включены им в собрание сочинений, состав которого отбирался очень строго), но также его обычная исключительно высокая требовательность к себе. Известно, например, что и по поводу своих пьес он писал, что их «изучать не надо, потому что нечего изучать», и что, по его мнению, неудачной является даже и такая пьеса, как «На дне». ¹

Из этого следует, что оценки Горьким своих произведений далеко не всегда могут быть руководящими для исследователя. Конечно, в историю литературы Горький вошел прежде всего как гениальный прозаик, как автор замечательных повестей и рассказов. Но даже если бы до нас дошли только лишь «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике» и сказка «Девушка и смерть», то и тогда своеобразие поэтиче-

¹ См. статью М. Горького «О пьесах» (1932).

ской манеры Горького, высокая идейная и эмоциональная насыщенность этих произведений дали бы основание говорить о Горьком как о поэте.¹ Его стихи должны изучаться не только потому, что, как сказал Пушкин, «всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства». Изучения заслуживают как его лирические стихотворения и поэмы, так и тот метод использования стихов в прозаических произведениях, который впервые в русской литературе Горький применил столь широко. Если «от своего имени» Горький опубликовал около десяти стихотворений, то в прозаические произведения он ввел около ста² (это относится ко всем жанрам горьковской прозы — к легендам, рассказам, очеркам, повестям, вплоть до «Жизни Клима Самгина»). Кроме того, значительное количество стихотворений осталось неопубликованным в архиве Горького.

В истории литературы известно немало случаев, когда писатели, начиная свою литературную деятельность стихами, впоследствии переходят к прозе, окончательно

¹ Вопрос об изучении поэзии Горького был поставлен в статье Н. К. Пиксанова «Горький — стихотворец» («Новый мир», 1933), впоследствии разросшейся в отдельную книгу («Горький — поэт», Л., 1940, 200 стр.).

² В нашем сборнике печатаются лишь наиболее характерные из таких стихов.

порывая с поэзией. Горький к таким писателям не принадлежал. Интерес к поэтическому творчеству сопровождал его всю жизнь, начиная с детских лет. В 80—90-х годах Горький писал очень много стихов, но и в последние годы жизни он признался Всеволоду Иванову: «А я каждый день стихи пишу». Теперь мы можем утверждать, на основании материалов архива Горького, что он действительно писал стихи до конца своих дней. Это свидетельствует о том, что поэзия была для него органической творческой потребностью. И в этом сказался прежде всего лирический характер горьковского дарования.

Говоря о годах детства и о глубоком увлечении народной поэзией (с которой будущего писателя знакомила его бабушка Акулина Ивановна Каширина), Горький вспоминал:

«В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в формах ее стихов». Такое признание весьма симптоматично. «Д у м а т ь в ф о р м а х с т и х о в» — эти слова выражают самое существо горьковской поэзии. Большинство стихотворений Горького — это именно размышления об окружающем мире, о «проклятых вопросах» бытия — о жизни, любви, смерти, природе, — своеобразные попытки самопознания. Кроме того, думая в форме стихов, Горький с редкостным проникновением умел смо-

треть на мир глазами своих героев, ибо лирическое дарование сочеталось у него с глубокой пронизательностью, с искусством раскрывать «изнутри» образы людей, даже и чуждых ему. Если не учитывать этой особенности поэзии Горького, то останется совершенно непонятным, почему он многие свои стихотворения, написанные, казалось бы, как авторские, т. е. от своего «я», переадресовывал впоследствии самым разнообразным героям своих повестей и рассказов.

В статье «О том, как я учился писать» Горький вспоминал о раннем периоде литературной работы: «Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства от желания выговорить все, что тяготило, огорчало и радовало меня, хотел рассказать, чтобы «разгрузиться». Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня, точно у истерика, стоял «ком в горле», и мне хотелось кричать, что стекольщик Анатолий, мой друг, талантливейший парень, что он погибнет, если не помочь ему; что проститутка Тереза — хороший человек, и несправедливо, что она проститутка, а студенты, пользуясь ею, не видят этого, так же как не видят, что «Матица», старуха-нищая, — умнее, чем молодая, начитанная акушерка Яковлева. Втайне даже от близкого моего друга, студента Гурия Плетнева, я писал стихи

о Терезе, Анатолии, о том, что снег весной тает не для того, чтобы стекать грязной водой с улицы в подвал, где работают булочники, что Волга — красивая река, крендельщик Кузин — Иуда-предатель, а жизнь — сплошное свинство и тоска, убивающая душу».

Эта «тоска, убивающая душу», тоска, вызванная «свинством окружающей жизни», была знакома Горькому еще в детстве. В повести «В людях» он приводит одно из своих детских стихотворений, отражающих мучительно острые ощущения:

Господи, господи, скучно мне!
Хоть бы уж скорее вырасти!
А то жить терпенья нет,
Хоть удавись, господи, прости!
Из ученья не выходит толку.
Чортова кукла, бабушка Матрена,
Рычит на меня волком,
И жить мне очень, очень солоно!

Повесть «В людях» написана Горьким в 1915—1916 гг. Едва ли, конечно, Горький в эти годы помнил стихи, которые сочинял в детстве: ведь «В людях» не только мемуарное, но и художественное произведение, а потому элементы писательского вымысла здесь вполне законны. Для нас существенно, что Горький сумел мастерски восстановить настроения и образ мышления забитого жизнью мальчугана.

С таким же проникновением, с такой же индивидуализацией Горький воплощал в стихах и переживания своих литературных героев. Вспомним стихи Павла Грачева из повести «Трое». Стихи эти, вставленные в повесть именно как стихи Грачева, рабочего парня, правдоискателя, нещадно избиваемого жизнью, могут показаться художественно невыдержанными лишь читателю, которому непонятен метод горьковского раскрытия характера. Не только само настроение, но и способ выражения его, обыденная жалоба на судьбу («Судьба меня душит, она меня давит»), наивно-выспреннее признание «Вином я сердечные раны лечу...» — все это как нельзя лучше характеризует Павла Грачева. Любопытно, что о своем влечении к поэзии Грачев говорит словами, близкими к процитированному нами автобиографическому признанию Горького: «... У меня их (стихов. — М. Б.) в башке, как в улье... так и жужжат! Иной раз начну сочинять, разгорячусь даже... Кипит в душе, слезы на глазах выступают...» Это, конечно, еще не столько поэзия, сколько желание выговорить все, что теснит душу. Но близость настроений Горького своему герою (в данном случае — Грачеву) не дает права отождествлять с ним писателя. Разумеется, жизненный опыт самого Горького объективирован в его творчестве. Но если в стихо-

творениях, вложенных Горьким в уста своих героев, и отражены факты его личной жизни, то они даны все же в форме типизации переживаний именно этих героев и в целом никак не могут служить иллюстрациями к его собственной биографии. Вот почему неправильно было бы оценивать многочисленные стихи, введенные Горьким в текст повестей и рассказов, как «непосредственную» авторскую лирику. Возьмем для примера стихи Симы Девушкина из «Городка Окурова». В стихах этого «слободского поэта», изображающих строй души «заречных жителей», отразились наблюдения Горького над психологией и бытом мещанской уездной России. Однако герой стихов одновременно и страдает от дикости окружающей среды и носит в себе некоторые черты ее психологии — слепую покорность судьбе, трусливость даже в самом протесте.

Разумеется, содержание стихов Симы Девушкина было чуждо Горькому — человеку революционного упорства и действенной ненависти к «свинской жизни» во всех ее проявлениях. Стихи Симы Девушкина, как и стихи Павла Грачева, — образец мастерского умения Горького воплощать в поэзии лирические размышления своих героев. И здесь опять-таки типично и самое настроение, и стиль, и образ мышления

героя.¹ Стихам Симы Девушкина свойственны типичные для городского фольклора романская интонация и искаженный синтаксический параллелизм:

Господи! Помилуй нас!
Жить нам неохота.
Позади у нас леса.
Впереди — болото.

Назвав слободского поэта фамилией Девушкин, Горький как бы указал на связь его генеалогии с образом Макара Девушкина из «Бедных людей» Достоевского. На близость темы «Городка Окурова» теме Достоевского указывает также эпиграф к повести («...уездная, звериная глушь. — Ф. М. Достоевский»). Подобно Макару Девушкину, Сима Девушкин — фигура униженного, забитого, «бедного» человека. О близости психологии Макара и Симы свидетельствует и эпизод, когда Сима, весь налившись «страстью, злостью и тоской», прочел податному инспектору Жукову свои стихи с неожиданно резким для «слободского поэта» признанием:

Стыдно мне смотреть на вас.
Стыдно и противно...

¹ Ср., например, характерные строки:

Правду рассказать про вас
Я никак не смею,
Потому вы за нее
Сломите мне шею...

Вероятно, и Макар Девушкин поступил бы так же, как Сима, который убежал и прятался «недели три» после угроз Жукова («Убью!») в ответ на эти стихи. Но при всех общих чертах образ Симы существенно отличается от образа Макара. Это отличие заключается не только в том, что Симе несвойственна психология приспособленчества, вхождения в жизнь «бочком, бочком» при смиренном (хотя и двойственном) признании законности разделения на «верхи» и «низы». Не приукрашивая образа Симы Девушкина, Горький тонко подчеркнул в нем черты человечности, его инстинктивное тяготение к «правде», к жизни, свободной от кошмаров окуривщины. Но, быть может, наиболее яркой чертой образа Симы является отношение к «сочинительству», выраженное в словах: «Ах, господи! Это такая, знаете, радость, когда сочинишь что-нибудь, даже плакать хочется». И если содержание стихов Симы Девушкина бедно, то в этом не его вина. Идиотизм оцепенелой, оупляющей и огупляющей человека жизни определял содержание этих стихов. В еще более резкой форме ужасающая ограниченность сознания героя впечатлениями окружающего мирка показана в стихах Платона из рассказа «О тараканах»:

«Платон вырвал из книги заказов лист бумаги, стал сочинять стихи, чтобы одолеть скуку. Сначала у него пошло хорошо:

надуманно нелепы»). По какой-то принципиальной бессодержательности стихи Платона (из рассказа «О тараканах») можно было бы сопоставить со стихами капитана Лебядкина из «Бесов». Но в рассказе Горького даже стихи Платона выражают инстинктивное стремление преодолеть прозу окружающей жизни.

Насколько умело Горький варьировал форму и содержание лирики своих героев, можно проследить на эволюции образа Павла Грачева. Если сначала стихи Грачева («Ночь... Тошно! Сквозь тусклые стекла окна...» или «Изныли ноги...») характеризуются своеобразной эмоционально-расслабленной интонацией, то с идейным ростом героя стихи его приобретают противоположные черты:

Да будет проклят этот мрак!
Свободный от его недуга,
Я чувствую: нашел я друга!
И ясно вижу, кто мой враг!

Примером разнообразия тематического и стилистического диапазона лирики, которой наделял своих героев Горький, являются стихи Калерии из пьесы «Дачники» («Осени дыханием гонимы...»). Утонченный эстетизм и музыкальность этого стихотворения, написанного в манере «модернистской» поэзии, привлекли внимание нескольких композиторов: оно положено на музыку.

Замысел Горького, который ввел эти стихи в пьесу с полемической целью, не был понят. Говорить о том, что Горький пользовался здесь методом стилизации, было бы неправильно, ибо в этих стихах нет обнаженной, подчеркнутой «подделки» под оригинал, как нет и обычного для стилизации разрыва между содержанием и формой. Подобные стихи писались «всерьез» и были для Горького одним из средств раскрытия характеров. Этим средством он пользовался в соответствии с психологией и эстетическими симпатиями персонажей, наделенных способностями или попросту влечением к стихотворству.

Конечно, это не значит, что, обладая способностью так полно «вживаться» во внутренний мир своих героев, Горький становился объективистом. Как подлинный художник, он был тенденциозен, но тенденциозен в том смысле, о котором писал Энгельс: «Чем больше скрыты взгляды автора, тем это лучше для произведения искусства...», «тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия...»¹ Тенденциозность такого рода не влияла на цельность и выдержанность стихов, которые Горький приписывал самым разнообразным персонажам своих произведений. Тенденциозность, высокая идейность,

¹ „Маркс и Энгельс об искусстве“, М., 1937, стр. 195 и 63.

стремление к переделке действительности, сознательная партийность — эти черты, свойственные всему горьковскому творчеству, определяли отношение великого пролетарского писателя и к мироощущению изображавшихся им людей. Так, например, в тех же «Дачниках» стихам Калерии противопоставлены пародийные стихи Власа. Пародийность эта заключается не только в осмеянии эстетизма и пустоты стихов Калерии, но и в противопоставлении поэтическим формулам Калерии — формул с измененным содержанием (например, у Калерии: «Маленькие, мертвые цветы», у Власа: «Маленькие, нудные людишки»), а также в подчеркнутом композиционном параллелизме. В стихах Калерии последняя строфа читается:

Черные, задумчивые птицы...
Мертвые деревья и кусты...
Белые, безмолвные снежинки
Падают с холодной высоты.

Этой строфе в ответных стихах Власа соответствует строфа:

Маленькие, краденые мысли.
Модные, красивые словечки.
Ползают тихонько с краю жизни
Тусклые, как тени, человечки.

Содержание этой пародии, ее направленность против ухода в «чистую лирику» за-

ставляют вспомнить образцы пародий, писавшихся в 60-х годах поэтами «Искры» на стихи дворянских поэтов, приверженцев «чистого искусства».

2

Идея гражданского служения поэта, идея самоотверженной борьбы против разнообразных проявлений реакции и против «свинцовых мерзостей» жизни пронизывает произведения Горького. Ему всегда была свойственна четкая осознанность творческих стремлений. «Какая вообще задача у литературы, у искусства?» — спрашивал он в письме к Пятницкому в 1900 г. и отвечал: «Запечатлеть в красках, в словах, в звуках, формах то, что есть в человеке наилучшего, красивого, честного, благородного. Так ведь? В частности, моя задача — пробуждать в человеке: гордость самим собой, говорить ему о том, что он в жизни — самое лучшее, самое значительное, самое дорогое, святое, что кроме него — нет ничего достойного внимания».

Эта гуманистическая идея связывалась в сознании Горького с желанием указать людям выход из противоречий окружающей действительности, помочь им найти путь к иной, лучшей жизни. О ранних опытах такого «учительства» рассказал сам Горький. Так, о своей юношеской поэме «Песнь старого дуба» он впоследствии писал:

«...я затискал в нее все то, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой нелегкой жизни. И был убежден, что грамотное человечество, прочитав мою поэму, благоотворно изумится перед новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех, живущих на земле, и тотчас же после этого взиграет честная, чистая, веселая жизнь — кроме и больше этого я ничего не желал». Несомненно, что к этому же периоду исканий относится и следующее стихотворение Горького декларативного характера, содержащее аналогичные признания:

Не браните вы музу мою,
Я другой и не знал, и не знаю,
Не минувшему песнь я слагаю,
А грядущему гимны пою.

В незатейливой песне моей
Я пою о стремлении к свету,
Отнеситесь по-дружески к ней
И ко мне, самоучке-поэту.

Пусть порой моя песнь прозвучит
Тихой грустью, тоскою глубокой,
Может быть, вашу душу смягчит
Стон и ропот души одинокой.

Не встречайте же музу мою
Невнимательно и безучастно.

В этой жизни, больной и несчастной,
Я грядущему гимны пою.¹

За исключением нескольких удачных строк, это, конечно, еще не поэзия, а скорее ценная для постижения истоков горьковского творчества поэтическая исповедь. Несовершенные стихи эти показывают, однако, что уже на раннем этапе своего творчества Горький был чужд той унылой безнадежности и пассивным жалобам на окружающую действительность, которые были свойственны поэзии 80-х годов. Правда, по некоторым формальным и стилистическим признакам его стихов можно заключить, что поэзия Надсона, формулы которой растворились в массовом потоке стихотворной продукции, задела и юношу Горького. Таково, например, следующее стихотворение (также при жизни его не печатавшееся):

Тому на свете тяжело,
Кто сердце чуткое имеет;
Кто всюду видит ложь и зло,
Но правды высказать не смеет;

Кто в омут бедствий погружен
И неразумною толпою
Невежд лукавых окружен, —
Невежд с их совестью слепою;

¹ При жизни Горького не печаталось (см. Н. Пиксанов. „Горький—поэт“, стр. 51 — 52).

Кто в мире одинок живет
И видит: правду презирают
И крику правды не внимают,
Когда он песню запоет.¹

Читатель, знающий поэзию Надсона, свяжет с ней мотивы этого стихотворения, противопоставляющего презираемую толпой правду — лжи и злу мира. Традиционны здесь также некоторые элементы поэтики (например, зыбкие, однотипные для поэзии этих лет метафоры — «омут бедствий», «крик правды»). Однако Горькому были чужды глубокая безнадежность и безвольность, размагниченность, характеризовавшие даже лучшие стихи Надсона, поэта, отличавшегося искренним трагизмом своих переживаний от многочисленных эпигонов 80—90-х годов. Горький — выходец из народных низов, исполненный жажды борьбы, с юношеских лет тесно связавший себя с революционным движением, — отвергал философию Надсона с ее пессимистическим утверждением: «И все-таки ты будешь на земле бессильным, трепетным рабом...» Поиски правды, поиски путей, которые привели бы человечество «к свету», — все это было для юного Горького не литературной темой, как для «унылых» поэтов этих лет (Федорова, Чюминой, Бы-

¹ Архив Горького.

кова, Козлова и им подобных), а выражало действительное содержание его стремлений и переживаний. Живое чувство действительности и непримиримая вражда ко всякой фальши предохраняли Горького от самой возможности усвоения традиционной трактовки этой темы.

Горькому были враждебны мотивы рефлексии, безволия, уныния, обреченности, распространенные в массовой стихотворной продукции последних десятилетий XIX в. В некоторых своих рассказах 90-х гг., сыгравших несомненную роль в процессе литературной борьбы, он высмеял эту поэзию, которая, как известно, не отличалась ни оригинальностью, ни искренностью.

В рассказе «Грустная история» («Самарская газета», 1895, № 193 и 194)¹ Горький иронически изобразил поэта, говорившего в своих стихах, «что его сердце все изъязвлено сомнением и что черви тоски неустанно гложут его грудь. Его описания мук души и язв сердца, благодаря обильной лексики и умелой архитектонике, выходили довольно правдоподобны и даже, казалось, были искренни...» Приведенное в рассказе стихотворение является сводкой наиболее ходовых мотивов «унылой» поэтической продукции этих лет:

¹ Перепечатан в сборнике «Забытые рассказы» под ред. С. Д. Балухатого, Л., 1940. Там же см. рассказы «Неприятность» и «Поэт».

Я жизнью жестоко обманут,
И столько я бед перенес,
Что больше в душе не воспрянут
Рои погребенных в ней грез!
Их много там! Склеп им так тесен!..
Я в саваны рифм их одел...
И много над ними я песен
Печальных, как стоны, пропел...
Пропел и теперь не нарушу
Я больше их мертвого сна...
Господы! Упокой мою душу!
Она безнадежно больна...

Ни капли я счастья не пил
И ждать я его не могу!
Нет, сердце, сожженное в пепел,
Надеждой я вновь не сожгу!
Обманов и грез мне не надо,
Пусть мир их отраден и мил,
Милей мне бокал того яда,
Который все время я пил!
Я жизнь мою смело разрушу,
Когда его выпью до дна...
Тогда... успокою ли душу,
Что так нестерпимо больна?...

Мне жизни игра непонятна —
Я пасынок грубой земли:
На сердце мне темные пятна
Глубокой печали легли.
И жизнь прохожу я фатально,
Не нужен я в ней никому,

В ней сердцу живется печально
И слишком в ней темно уму!
Я встречи со смертью не трушу.
Пусть смерть холодна и темна.
Господь! Упокой мою душу!
Она безнадежно больна!

В той же «Грустной истории» Горький отмечает: «Хотя трудно было понять, в чем он (поэт) сомневается, в торжестве ли всего прекрасного, или в том, что слава со временем увенчает его чело и тем отличит его от тысяч собратий по перу, — тем не менее его читали». Горький показал в «Грустной истории», что за модными скорбными «резиньяциями» не было никакой серьезной мысли, никакого реального содержания, а только лишь фальшь и наигранность.

Но, несмотря на все это, такого рода стихи действовали на неискушенных читателей, отравляя их сознание. В рассказе «Неприятность» («Самарская газета», 1895, № 246) изображен поэт Миляев — «из признанных, дописавшийся до эпитета «маленький, но симпатичный талант». Миляев писал стихи гладкие и неотличимые от сотен других, стихи, образец которых приведен в рассказе:

Дремлет сад... И небо дремлет...
И, впивая аромат
Сонных роз, высоко в небе
Крошки-звезды тоже спят...

Вот плывут куда-то тени,
Тихо, медленно плывут;
И мое больное сердце
В даль с собой они зовут.
Под окном моим сквозь дрему
Шелестит ветвями клен,
У корней его левкой
Погрузились в сладкий сон.
И когда над садом ветер
Вдруг задумчиво вздохнет,
Мне лицо их тонкий запах
С тихой лаской опашнет.
Но зачем? Я этой лаской
Не утешен, не согрет.
Что цветы мне, что мне звезды,
Если в сердце жизни нет.

Верочка, гимназистка седьмого класса, искренно говорит о стихах Миляева: «Я вся дрожу, когда читаю их». Миляев же характеризуется в рассказе как пустой и насквозь лживый человек.

Темы о современных поэтах и поэзии Горький касается и в других произведениях. Так, в рассказе «Поэт» («Нижегородский листок», 1896, № 286) герой — поэт Крымский — рассуждает: «Все требуют гражданских звуков мести и скорби... Сидя в своих гнездах, они полагают, что на мечь и скорбь в жизни есть спрос. Со всем напрасно... Никаких граждан в жизни нет, есть в ней люди глупые и самодовольные и люди измученные и недоволь-

ные ничем... А больше ничего нет...» И здесь Горький вновь показывает, с каким восторгом ожидала девушка декадента, «который в гимназии считался самым лучшим поэтом из современных» и у которого «такие нежные, ласкающие стихи, такие звучные, грустные...» Только нечаянно услышав его полный цинизма разговор с отцом, она поняла, кем является в действительности этот «властитель дум».

В борьбе с поэзией такого рода укреплялись основы художественного мировоззрения Горького.

3

Будучи человеком большой чуткости, остро переживая «кошмары российской действительности», Горький испытывал моментами жесточайшую депрессию. Вспоминая впоследствии об этом, он писал: «...меня крутил по земле вихрь сомнений, от которых сердце мое разрывалось на куски и леденел мозг, я ходил среди людей полуслепой, не понимая смысла их жизни, их страданий, почти до безумия изумленный своим бессилием, не находя нигде ответов на острые вопросы, а они резали мне душу». В преодолении этих сомнений закалялась жизненная стойкость Горького, его воля к борьбе. Философии бессилия, неверия в творческие силы человека и в победу «над темными силами

жизни» Горький противопоставил гордую мечту о подвиге, о смелом дерзании, о праве человека на счастье. В носящем автобиографический характер очерке «Женщина» Горький вспоминал:

«Хочется сказать людям какие-то слова, которые подняли бы головы им, и, сами собой, слагаются юношеские стихи:

— Все родной землею нашей
Мы для счастья рождены!
Для того, чтоб быть ей краше,
Солнцем мы земле даны!

В этом светлом солнца храме

Мы и боги, и жрецы.

Нами жизнь творима, нами!»

Этими идеями активного романтизма, романтизма революционной борьбы, пронизано все творчество Горького. От неопределенных юношеских мечтаний о помощи человечеству, отразившихся в поэме «Песнь старого дуба», он пришел к соединению героического слова с героическим делом: его творческий путь слился с путем пролетарской революции.

Один из мемуаристов приводит в своих воспоминаниях, относящихся к самому началу 90-х годов, отрывок из большого стихотворения Горького, написанного под влиянием Байрона: «...Байрон поддерживал в Горьком дух недовольства настоящим,

дух протеста и вместе с тем уносил его вместе с Манфредом в заоблачные края:

В мир новый, мир иной,
Где слез не надо проливать,
Где крик души больной
Не станет сердца разрывать
Щемящею тоской».¹

Если Горький и преодолел кризис «души больной», то этим он обязан своей кровной связи с жизнью и широте своих интересов.

Творческая индивидуальность Горького формировалась в результате критического усвоения лучших достижений мировой культуры. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Байрон, Беранже, Гейне — все эти поэты были близки Горькому оптимистической устремленностью в будущее, активным социальным романтизмом. Среди этих поэтов на первое место по своему влиянию на все творчество Горького следует поставить Пушкина. О своем первом знакомстве с поэмами Пушкина Горький вспоминал: «Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданное красивое место, — всегда стремишься сбежать его сразу. Так бывает после того, как долго

¹ С. В а р т а н ь я н ц, М. Горький в Тифлисе, „Бак. известия“, 1903, № 13, 16 января.

ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернется перед тобой лесная поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь ее всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радуется». Свободолюбие героев пушкинских поэм, их протест против ограниченности и ничтожества окружающей среды, стремление к яркой жизни — все это резко отличалось от современной юному Горькому поэзии с ее узостью и ограниченностью. Творчеству Горького, воспевавшего гордых, свободолюбивых людей, были созвучны образы Кавказского пленника, полетевшего в далекий край «с веселым призраком свободы», Алеко, отдавшего предпочтение дикой жизни «вольности детей» перед «неволей душных городов», Земфиры, готовой пожертвовать жизнью за счастье любви.¹ Героическая романтика ранней прозы Горького, подготовившей символические образы Сокола и Буревестника, восходит в плане историко-литературном также к мятежной поэзии Лермонтова с ее порывом к подвигу и борьбе, с ее «жадным желанием дела, активного вмешательства в жизнь» (Горький).

Еще в начале своего творческого пути

¹ Подробнее об этом — в нашей статье «Горький и Пушкин» («Новый мир», 1937, кн. 6).

Горький стремился следовать тому принципу, о котором писал значительно позже одному поэту, советуя: «Не настраивайте своей души на один тон, а старайтесь, чтоб она говорила всеми глаголами, чтоб ничто не было чуждо ей. Не обижайте себя. Заметив, что вас усиленно тянет к чистой лирике, попытайтесь поискать, нет ли рядом с этим тяготением чего-либо иного, противоречивого ему? Развертывайте себя шире, развертывайте глубже». ¹ Благодаря своей широте Горький черпал духовную энергию не только в светлых сторонах жизни, в разраставшейся борьбе пролетариата, но также и во всестороннем непосредственном изучении дореволюционной России. Именно такое осознание «жесточкого опыта» запечатлелось в одном из его неизданных при жизни стихотворений:

Как странники по большой дороге.
Сквозь сердце мое прошли
В печали, сомнениях, тревоге
Тысячи детей земли.

Не многих с грустью милой
Я в памяти сердца храню
За то, что они дали силу
Сердца моего огню.

¹ Дм. Семеновский, А. М. Горький, Письма и встречи, М., 1938, стр. 16—17.

А тех, что его топтали,
Желая, чтоб он погас,
Забыл я — как их звали?
И также забуду вас.¹

Этому стихотворению можно в качестве комментария предпослать слова Горького: «Во все тяжелые моменты жизни, во все трудные минуты ее, мое сердце пело всегда один гимн: «Да здравствует человек!»

И поэтому не случайно, что на самом первом этапе своего творчества, наряду с еще во многом подражательными «грустными» стихотворениями, Горький писал стихи юмористические и сатирические, роль которых в эволюции его мировоззрения значительнее, чем можно было думать. Таких стихов Горький писал, повидимому, много, но почти все они оказались утраченными или же были им уничтожены. Несколько стихотворений, однако, до нас дошло. В них отразилось увлечение Горького Генрихом Гейне, в иронической поэзии которого, по определению Энгельса, мечты были намеренно взвинчены, «... чтобы затем упасть до уровня действительности».²

¹ Опубликовано И. Груздевым, Горький и его время, т. I, стр. 507.

² Маркс и Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 126.

Таково, например, следующее стихотворение Горького.

Это дивная рамка была!
В небе белая тучка плыла.
Тень ее упала в ручей,
В нем вились, точно медные змейки,
Ленты тонкие лунных лучей.
И акаций листва вокруг скамейки
Сеть душистую нежно сплела —
Это дивная рамка была!

Это острая шутка была!
Он сказал: «О, зачем ты зажгла
Мое сердце огнем этой страсти?
Грезы, силу — ты все погубила!
Помоги! Ведь в твоей это власти!»
И сказала она: «Я шутила —
Но тебе не желала я зла —
Это острая шутка была!»¹

Характерным для этого стихотворения соединением двух планов (лирико-романтического и сатирического), а также резким переломом настроения отмечено другое стихотворение этого же времени — «Рассвет» с «гейневской» концовкой:

Но — готов поклясться даже!
Шея ближнего — издревле

¹ Опубликовано И. Груздевым, Горький и его время, т. I, стр. 507.

Всех возможных экипажей
И удобней и дешевле!¹

Сатирические и иронические стихи Горького не были только лишь «опытами в легком жанре». В них выразилось стремление, с одной стороны, к «оздоровлению быта смехом» (слова Горького), а с другой — к выработке противоядия против пошлости и фальши, которую Горький осмеял в упомянутых выше рассказах о поэтах, становившихся в позу обиженных жизнью страдальцев и меланхолически поучавших «меньшого брата». Следы интереса к поэзии Гейне, романтика, осмеивавшего свои же романтические иллюзии, отразились не только в перечисленных стихах, но и в цитатах из Гейне, рассыпанных в ранних рассказах Горького. О значении Гейне для юноши Горького говорит его полная трагической иронии записка перед попыткой самоубийства (1887): «В смерти моей прошу винить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце».² Слова о «зубной боли в сердце» ярко передают то состояние временной душевной депрессии, которое, по признанию

¹ Архив Горького.

² Здесь Горький имеет в виду признание Гейне о „зубной боли в сердце“, от которой „хорошо помогает свинец с зубным порошком, изобретенным Бертольдом Шварцем“ (Путевые картины, ч. I, гл. XX).

Горького, было вызвано «пошлостью и жестокостью жизни». Гейне заинтересовал молодого Горького и обличением пошлости и скептической, разрушающей ложную романтическую идеализацию стороной своего творчества. Борьба с такого рода идеализацией запечатлена в ранних стихах Горького с резкостью, иногда даже излишне натуралистической (см., например, первую редакцию стихотворения «Прощай!»).

Но все ранние стихотворения Горького — лирические или сатирические, «грустные» или оптимистические, более удачные или менее удачные (вернее всего можно сказать о них словами В. Короленко: «отдельные строки есть сильные и яркие») — были лишь подготовительными опытами на пути к созданию тех горьковских произведений, образы которых навсегда останутся не только в истории революционной поэзии, но и в истории революционного движения.

4

Имя Горького-поэта в сознании широкого читателя прежде всего связывается с «Песней о Соколе» (1895) и «Песней о Буревестнике» (1901). Эти произведения, полные революционного пафоса, воспевающие непреодолимое стремление человека к борьбе за свободу до победного конца, воплощали чувства и помыслы пролетар-

ских масс, руководимых партией. Популярность «Песни о Соколе» и «Песни о Буревестнике», появившихся в свет в годы мощного подъема революционного движения, была колоссальна. «1900—1901 годы,— пишет М. И. Калинин, — были годами дальнейшего подъема революционного движения по всей России. В обществе чувствовалась энергия к борьбе. «Буревестник» Горького как бы обобщил настроение, желание бороться с самодержавием, с его порядками».¹ По свидетельству Ем. Ярославского, горьковские «...пламенные боевые песни: «Буревестник», «Песня о Соколе» — имели не меньшее революционное воздействие на массы, чем прокламации отдельных революционных комитетов партийной организации».² Тираж «Буревестника», распространявшегося в машинописных, гектографических и рукописных копиях, был в те годы очень велик. Популярность горьковского «Буревестника» вызывала бессильную ярость идеологов реакции и царских чиновников. Цензор Елагин в отзыве об апрельской книжке журнала «Жизнь» (в которой была напечатана «Песня о Буревестнике») отметил,

¹ М. И. Калинин, К шестидесятилетию со дня рождения товарища Сталина, Госполитиздат, 1939, стр. 7.

² Ем. Ярославский, Путь революционного писателя в подполье, в сб. «Революционный путь Горького», 1933, стр. 10.

что в этой «несомненно тенденциозной вещи» Горький, повидимому, «сам (т. е. в своем лице. — Б. М.) желает изобразить буревестника». Хулиганствовавший мракобес Пуришкевич включил это произведение в список книг, «как орудий растления».

В архиве Горького сохранился один из анонимных злобных ответов на горьковскую «Песню», автор которого восклицал:

Нет, поэт, не будет бури,
О которой ты мечтаешь!..

Все попытки противодействовать популярности «Песни» были безуспешны. Сила воздействия революционных стихотворений Горького заключалась прежде всего в их идейной насыщенности. И «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике» воспринимались в массах, как прямой призыв к революционному действию и как обличение обывателей и мещан, «рожденных ползать», боявшихся классовых битв. Известно, что В. И. Ленин в статье «Перед бурей» использовал символику «Песни о Буревестнике», противопоставляя трусливых либералов — пролетариату, который «... готовится к борьбе, дружно и бодро идет навстречу буре, рвется в самую гущу битвы». И далее Ленин писал: «Довольно с нас гегемонии трусливых кадетов, этих «глупых пингвинов», что «робко прячут тело жирное в утесах».

«Пусть сильнее грянет буря!»¹

Образы, родственные горьковскому «Буревестнику», где мрачным тучам противопоставляется победоносная мощь бури, мы находим и в написанной И. В. Сталиным прокламации тифлисских большевиков (1911): «Мрачные, кровавые тучи черной реакции, нависшие над страной, начинают рассеиваться, начинают сменяться грозowymi облаками народного гнева и возмущения. Черный фон нашей жизни прорезывают молнии, и вдали уже вспыхивают зарницы, приближается буря, которая сметет с лица земли вековой оплот насилия и угнетения. . .»²

В «Песне о Соколе» и «Песне о Буревестнике» Горький по-новому переосмыслил традиции русской революционной поэзии, в которой образы бури и моря, образы мятежной стихии наполнялись устойчивым политическим содержанием. Эта традиция идет от оды «Вольность» Радищева с ее символическими строками:

.. вихри восшумели,
Прервав спокойство тихих вод,
Свободы гласы так взгремели. . .

Эта традиция была продолжена Рылее-

¹ Ленин, Сочинения, т. X, стр. 25.

² Л. Б е р и я. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, 4-е изд., 1938, стр. 174.

вым, воспевающим «бурный мятеж», Пушкиным, мечтавшим в 1823 г. о «бурях», которые «взруют гибельный оплот», Пушкиным, после разгрома декабристского движения «выброшенным грозой» и все же оставшимся верным «гимнам прежним». Эта традиция перешла далее и к Лермонтову — певцу мятежной природы — и к поэтам революционной демократии.

В период формирования и развития художественного и политического мировоззрения Горького символикой бури, моря и грозы широко пользовался в своих произведениях В. Г. Короленко («Море», «Лес шумит», «Река играет»).

Несомненно, Горький сознательно продолжал в своем творчестве традиции русской революционной поэзии. Это можно проследить и в отдельных деталях горьковских произведений. Например, популярный аллегорический образ «Из искры возгорится пламя» (принадлежащий поэту-декабристу А. Одоевскому и взятый впоследствии в качестве эпиграфа к ленинской «Искре») в своей основе близок аналогичному по содержанию аллегорическому образу «Песни о Соколе»: «Не будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жадной свободой, света!» Но Горький был и продолжателем традиций революционной

русской поэзии, и подлинным новатором. В его произведениях образы природной стихии играют роль не отдельных метафор, подчиненных выражению субъективных переживаний автора, а образов, в которых эпические и лирические темы органически соединены и содержат в себе широкое обобщение. И в «Песне о Соколе» и в «Песне о Буревестнике» основной идеей является преодоление создающими и творческими силами жизни темных ее сторон, победа отваги и бесстрашия, воли к победе и оптимизма над пессимизмом, двойственностью, трусостью, бессилием. Эта идея является широко распространенной в фольклоре, и мы знаем из высказываний самого Горького, как он высоко ценил именно эту оплодотворяющую искусство идею народного творчества. Близкой фольклору является и поэтика «Песни о Буревестнике» с ее типичными для народной поэзии принципом психологического параллелизма и организующим композицию произведения лейтмотивом, содержанием которого является противопоставление двух противоположных сил.

Вначале:

Над седой равниной моря
Ветер тучи собирает.
Между тучами и морем

Гордо реет *буревестник*,
Черной молнии подобный.¹

С нарастанием динамики «Песни» этот мотив варьируется:

Глупый *пингвин* робко прячет
Тело жирное в утесах...
Только гордый *б. вестник*
Реет сильно и свободно
Над седым от пены морем.

И, наконец, новый вариант этого мотива дан в кульминационной точке произведения:

Он уверен, что не *скроют*
Тучи солнца, — нет, не *скроют!*

Здесь двойное противопоставление: Буревестника — тучам и туч — солнцу.

С народной поэзией связана и поэтика «Песни о Соколе», где в соответствии с изображением «положительных» и «отрицательных» образов меняется лексический состав произведения. Образ Сокола (столь распространенный в фольклоре, поэтизирующем народных героев) воплощен в стихах, выдержанных в патетической интонации. Тема «Ужа» сопровождается резким «снижением» лексики, доходящей в

¹ Для удобства выделения основных мотивов мы допускаем при цитировании разбивку «Песни о Буревестнике» на стихотворные строки.

некоторых местах до обычной разговорной речи:

«Должно быть в небе и в самом деле парить приятно, коль он так стонет».

Синтезируя традиции письменной поэзии и фольклора, Горький такими своими произведениями, как «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», а также более ранними — «О чиже, который лгал», «О маленькой фее и молодом чабане», создал совершенно новый жанр лирико-героической поэзии. Отличительной особенностью этого жанра является соединение прозы и стихов в одном произведении.¹

Функцию этого жанра (в горьковском понимании) раскрывает письмо Горького, написанное уже в советские годы поэту Дм. Семеновскому. Советуя Семеновскому написать «патетический, пафосный очерк» прозой и стихами и думая возродить один из созданных самим Горьким жанров героической романтики, Горький указывал:

«Вы положите начало новому приему изображения...». «Вы достигнете этого (героической романтики. — Б. М.), если будете писать прозу так, что она сама свободно и естественно перейдет в стихи».²

Когда Семеновский написал свое произведение, Горький напечатал его в жур-

¹ Как известно, «Песня о Буревестнике» первоначально была включена в «Весенние мелодии».

² Дм. Семеновский, Письма и встречи, стр. 101.

нале «Колхозник» со следующим своим предисловием:

«Помещая очерк Дм. Семеновского о Самцове, написанный прозой и стихами, редакция журнала «Колхозник» обращает внимание читателей и очеркистов на возможность особого приема, посредством коего наши герои могут быть изображены более ярко, с большим пафосом. Наш человек плохо умещается в прозе. Изображение нашего человека так, как он того заслуживает, должно быть повышено в тоне и красках. Дм. Семеновский пробует сделать это, но у него вся биография написана стихами, а прозу он ввел уже в стихи. А не попробует ли молодежь наша писать о людях прозой с таким воодушевлением, чтобы проза сама собою превращалась в стихи».¹

Свой так называемые стихотворения в прозе² Горький создавал именно так, что проза естественно соединялась со стихами. Такое соединение вызывалось самим сюжетом.

Возможно, что жанру «рассказа-поэмы» предстоит будущее. Однако юваторский характер поэтического творчества Горь-

¹ „Колхозник“, 1935, № 8, стр. 9.

² Это название для тех произведений, где соединены проза и стихи, не всегда оправдано. Стихотворная часть „Песни о Соколе“ и „Песни о Буревестнике“ печатается без деления на стихотворные строки, однако это не стихотворения в прозе, а белые стихи: первое написано двухстопным ямбом, второе — четырехстопным хореем.

кого имел более глубокие основания и заключался в оригинальной трактовке проблемы соединения реалистической и символической форм в поэзии. Без выяснения существа этой трактовки не может быть определен и новаторский характер таких произведений Горького, как «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Девушка и Смерть».

5

Идейная «бескрылость» поэзии 80-х годов сочеталась с ограниченным запасом жанров и средств поэтического выражения. 90-е годы, сопровождавшиеся в жизни страны событиями большого значения, внесли существенные изменения и в развитие различных литературных направлений.

Исторически назрела необходимость расширения рамок искусства, преодоления натурализма народнической литературы, риторичности и безжизненности эпигонской поэзии, которая лишенными образности штампованными формулами твердила о «скорби», «тоске», «сумерках», «отцветших грезах» и т. п. Если идеология пролетариата, выраженная в трудах создателя пролетарской партии В. И. Ленина, формулировалась ясно и четко, то идеология буржуазная — в политике, культуре и, в конечном счете, в искусстве — маскировалась в туманные мистифицированные формы. Множество статей, рассеянных в символических

стской и околосимволистской прессе 90-х годов, варьировали мысль о необходимости поисков «идеала», «новой веры», которая разрешила бы, наконец, «проклятые вопросы бытия», обратила бы мысль от «сущего» к «должному». Возникновение в 90-х годах таких стремлений было вполне закономерным. К этому времени остатки народнических романтических иллюзий, имевших ранее большое распространение среди интеллигенции, были развеяны. Для передовой части интеллигенции, стремившейся к революционной переделке действительности, существовал реальный идеал — участие в революционной борьбе пролетариата, уже к тому времени представлявшего собой значительную силу. Антинародной буржуазно-дворянской интеллигенции этот единственно реальный идеал был, разумеется, враждебен. Недовольная современной действительностью, она основное свое внимание направила на создание «внутренних», моральных устоев», что означало на деле борьбу с демократическими традициями передовой русской литературы.

Теоретики и критики символизма писали, что если и существует цель жизни, то достигается она не в интересах «обыденной жизни», а в мире «поэтического откровения, в мире прозрения во что-то, в какую-то возможную, но не наставшую еще гармонию» (слова одного из зачинателей русского символизма — Н. Мясковского). Эта

программа не была новой: ее выдвигало и консервативное течение европейского романтизма в начале XIX в. Тогда это было реакцией на французскую революцию, взбудоражившую Европу. Теперь это был ответ буржуазного искусства на историческое подготавливание социалистической революции. Но в это же время складывался и новый вид активного революционного романтизма, романтизма пролетарского, соединяющего реалистическое отношение к действительности с «чувством будущего» и с борьбой за осуществление революционной мечты. Этот романтизм был поддержан Лениным, который в 1902 г. в работе «Что делать?» писал о значении мечты и фантазии для революционного движения. Приведенные Лениным слова Писарева о том, что мечта и фантазия, обгоняющая естественный ход событий, «может поддерживать и усиливать энергию трудящегося человека»,¹ не только перекликались с высказываниями Горького этих же лет, но и были реализованы им в художественном творчестве. Так мистико-идеалистический, реакционный романтизм символистов противостоял революционному романтизму пролетариата, нашедшему выражение в произведениях Горького.

Актуальность проблемы романтизма признавалась в то время представителями раз-

¹ Ленин, Сочинения, т. IV, стр. 492—493.

личных литературных направлений. Теоретики символизма в борьбе с революционным романтизмом пропагандировали свою субъективно-идеалистическую трактовку вопросов романтической формы в поэзии и, в частности, роли символа как одного из характерных для романтиков видов образности.

Спор о символе, его содержании и функции весьма интересовал писателей 1890—1900-х гг. Символ является одним из распространеннейших в мировой поэзии средств художественного изображения. Посредством символа идея приобретает конкретно-чувственную форму, становится эмоционально-выразительной. Таков, например, «Буревестник» Горького, явившийся символом революционной борьбы. Символ как средство поэтического обобщения широко распространен в устной народной поэзии, часто встречается в былинах и песнях. В лирике крупнейших русских поэтов — Пушкина, Лермонтова, Некрасова — символы одно из средств поэтического воспроизведения связей между внешним миром, с одной стороны, и человеческими переживаниями, с другой. Для символистов же символы — это «окна в вечность», средство постижения «инобытия». Такая трактовка символа вела к мистике, субъективизму, к подмене познания действительности в искусстве стремлением «пересоздавать вещественность сложной своей впечатлительностью» (Бальмонт).

Уже в 90-е гг. в среде символистов начались споры о значении символа. Одни из них пытались рассматривать символ как нечто «самоценное», другие уже тогда считали символ средством выражения «скрытой отвлеченности». Точку зрения последних наиболее определенно выразил Н. Минский. В предисловии к переводу драмы Метерлинка «Слепые» (1894) он писал, что символическое произведение «должно состоять из чувственных образов, быть совершенно наглядным и понятным ребенку. Но за внешними символами скрывается идейное отвлеченное содержание». По мнению Минского, поэт должен исполнять роль «теурга», подчиняющего читателя определенным «идеям». Свое понимание символической формы Минский стремился претворить и в поэтической практике, но о результатах этого можно судить по следующему характерному для него стихотворению:

ПРЕД ЗАРЕЮ

Не тревожься, недремлющий друг,
Если стало темнее вокруг,
 Если гаснет звезда за звездою,
Если скрылась луна в облаках
И клубятся туманы в лугах:
 Это стало темней — пред зарею...
Не пугайся, неопытный брат,
Что из нор своих гады спешат
 Завладеть беззащитной землею,

Что бегут пауки, что, шипя,
На болоте проснулась змея:
 Это гады бегут — пред зарею...
Не грусти, что во мраке ночном
Люди мертвым покоятся сном,
Что в безмолвии слышны порою
Только глупый напев петухов
Или злое ворчание псов:
 Это — сон, это — лай пред зарею...

Здесь все условно и пусто: звезды, гады, пауки, болото, змея, псы — все это не «знаки» реальных явлений и в то же время не олицетворения, за которыми «светится» определенная идея. Образы не имеют самостоятельного значения и воспринимаются, как примитивные аллегорические иносказания. Точно так же в массовой стихотворной продукции этого времени такие ходовые иносказания, как «нести крест» (т. е. страдать), «заря» (будущее), «миновавший сон» (прошлое), «свет» (надежда) и т. д., использовались статически, не были объединены ясной, жизненной идеей, не заражали читателя какими-либо определенными эмоциями и служили лишь средством воплощения смутных и неясных настроений.

Горьковская трактовка символических форм в поэзии была принципиально иная, резко враждебная школе символистов. И символы и аллегории были для него одним

из средств образного познания мира и обобщения тенденций реальной действительности. Символическая форма характерна для многих произведений Горького: «О чиже, который лгал, и о дятле, любителе истины», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Девушка и Смерть» и др. В литературе о Горьком встречаются различивые определения образов этих произведений. Например, образы Сокола и Буревестника в одних случаях называют символами, в других — аллегориями. Необходимо, однако, учесть, что различие между символическим и аллегорическим образами и в теоретических взглядах Горького и в его произведениях является колеблющимся и переходным. Правильнее было бы говорить о синтезе символа и аллегории в творчестве Горького. В самом деле: образы Сокола и Буревестника, в отличие от обычных аллегорий, имеют самостоятельное значение (не только рассудочное, но и эмоциональное), однако иносказательный характер этих образов также несомненен. Такое соедмнение элементов символа и аллегории свойственно устному народному творчеству и реже встречается в книжной поэзии. Сам Горький осознал эти свои произведения как аллегорические, но следует напомнить о том, что его трактовка аллегории была весьма своеобразной.

Эта трактовка раскрывается в статье Горького по поводу книги английской писательницы Оливии Шрейнер «Грезы и сновидения».¹ Высоко оценивая аллегории Оливии Шрейнер, как художественно законченные и глубокие по своему содержанию, Горький писал: «Нужно обладать очень своеобразным талантом для того, чтобы писать аллегории, и нужно иметь тонкий художественный такт, чтобы не свести аллегорию на степень туманного и скучного нравоучения». Основное достоинство аллегорий Шрейнер заключается в том, что она смогла «в реальных образах показать настойчивое, неутомимое стремление человека к истине, все ошибки, все муки его на этом пути». Соединение «реальных образов» с конкретной символикой, заключающей в себе «грандиозную тему», — такова сущность аллегории в понимании Горького.

Форма аллегорических произведений Горького складывалась в традициях одного из величайших классиков русской литературы — Салтыкова-Щедрина, который дал в своем творчестве великолепные образцы аллегорий-характеров. В самом начале своего творческого пути, в пору ученичества, Горький еще прибегал в своих стихах к расплывчатым иносказаниям в духе

¹ „Нижегородский листок“, 1892, № 348.

массовой поэзии 80—90-х годов.¹ Но в это же время он вырабатывает другой тип аллегории, аллегории-характера. В таких аллегориях, как «О чиже, который лгал...» или «Весенние мелодии», и в позднейших «Русских сказках» Горький продолжал традиции сказок Салтыкова-Щедрина, что не раз отмечалось исследователями. Существенными были для Горького и художественные особенности аллегорий-характеров, созданных знаменитым датским сказочником Г. Х. Андерсеном. Тема «Горький и Андерсен» еще ждет своего исследователя; должны быть изучены черты близости к Горькому Андерсена — писателя из народа, скитальца, мудрого оптимиста, воспевшего в своем

¹ В качестве примера можно привести следующее стихотворение Горького:

Я плыву, за мною следом
Грозно пенятся валы,
Путь морской — душе неведом,
Даль закрыта тогой мглы.
Но плыву с глубокой верой,
Что победно из-за туч
Заблестит по дали серой
Солнца радостного луч.
Пусть волна грозит бедою.
Море, гнев свой усмири!
Я отважною душою
Чую проблески зари!

Следует, однако, отметить, что, несмотря на традиционность аллегорических образов, горьковское стихотворение отличается оптимистическим юном от многих других стихов на эту же тему.

творчестве благородство человека из «низов», черпавшего сюжеты своих сказок из фольклора. В 1894—1895 гг. в России вышло собрание сочинений Андерсена. Интерес к Андерсену начинает сказываться уже на рассказах Горького 1894 г. (см., например, рассказ «Об одном поэте»). Создавая в своих аллегориях и сказках образы-характеры, основанные на живом жизненном опыте, Горький критически изучал также и творческий опыт Андерсена. И недаром в качестве эпитафии к «Сказкам об Италии» Горький поставил слова Андерсена: «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь». Но самые основы политического и философского мышления Горького были, конечно, совершенно иными, чем у Андерсена (который, при всей прогрессивности своего мировоззрения, оставался филантропистом и моралистом). Именно потому аллегории Горького и выделяются своим богатейшим идейным содержанием на фоне всей предшествующей традиции этого жанра.

В статье об аллегориях Оливии Шрейнер Горький намечает два типа аллегорий. Один тип аллегорий предполагает заранее обдуманную маскировку какой-либо идеи, ибо «под аллегорией можно ловко скрыть сатиру, колкость, смелую речь...» О такой манере литераторов Салтыков-Щедрин писал: «...писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом пред-

стоящей работы, сколько обдумываем способ проведения его в среду читателей».

К подобным аллегорическим формам иногда прибегал в своих дореволюционных произведениях и Горький, сознательно допуская перевес условного, отвлеченного содержания над образностью. Другой тип аллегории соединяет «огромное идейное содержание», грандиозную тему — «с художественным изложением». Если применить эти критерии Горького к его собственным аллегориям, то мы приходим к выводу о том, что аллегория *«О чиже, который лгал...» (где поставлена сравнительно ограниченная задача «скрыть сатиру») не может идти в сравнение со сказкой «Девушка и Смерть», где в символической форме воплощена «грандиозная тема».

Эту тему И. В. Сталин в надписи, сделанной 11 октября 1931 года на тексте сказки, охарактеризовал словами: «Любовь побеждает смерть».¹

Идея победы жизненного начала, победы бесстрашия, мужества и земного чувства над смертью положена в основу сюжета сказки. В отличие от других аллегорических произведений Горького образы развернуты здесь психологически. Это относится даже к образам второстепенным. Поступок царя, одержимого «черной злобой» и требую-

¹ См. «Литературную газету», 1937, № 9, 30 октября.

щего «удавить девчонку», раскрыт как ненависть деспотизма к чужому счастью. Сложным является в сказке образ Смерти, мечтающей о том, чтобы «зарыдать от любовной боли»:

В темном сердце Смерти есть ростки
Жалости и гнева, и тоски.

Вместе с тем сказка направлена против поэтизации смерти, поэтизации, так распространенной в литературе декаданса, проповедывавшей «кладбищенскую мудрость». Все, что связано с «неблагодарным делом» смерти, дано чертами утрированно-натуралистическими (эта утрировка была, конечно, намеренной). Тема смерти составляет «низкий» лексический план поэмы («обула лапти и онучи» и т. д.), в то время как тема любви и образ Девушки влекут за собой высокую романтическую лексику («атласная трава», «лунный блеск», «звезды поцелуев», «синеволосая ночь», «огненные маки»). Содержание сказки связано с народным творчеством и прежде всего с той общей идеей борьбы темных и светлых сил жизни, о которой мы говорили выше и которая выражена здесь в заново переосмысленном фольклорном мотиве победы над Судьбою («Нет больше страха пред Судьбою...»). Заклучая в себе грандиозную тему о жизни и смерти, сказка содержит также и специфич-

чески горьковский мотив сильной личности, постигающей радость существования в посвящении себя целиком какой-либо идее или чувству:

Обнимет милый, —
Ни земли, ни неба больше нет.

Как отметил И. В. Сталин в цитированной выше надписи, сказка Горького «Девушка и Смерть», основанная на идее победы любви над смертью, тем самым — «...сильнее, чем «Фауст» Гете».

Идея «Девушки и Смерти» противостояла пессимизму и индивидуализму буржуазного декаданса, декларировавшего в лице таких своих представителей, как, например, Э. Гиппиус:

Беспощадна моя дорога,
Она меня к смерти ведет,
Но люблю я себя, как бога,
Любовь мою душу спасет.

Борьба Горького с декадентской литературой включала в себя и разоблачение социального смысла поэтизации смерти. «К жизни, к работе, а не к смерти надо звать!» — писал Горький в статье «Изда-лека» (1912). Сатирически, по-щедрински изобразил он в одной из «Русских сказок» собирательный образ поэта Смертяшкина, писавшего стихи для похоронного бюро в духе «кладбищенской поэзии» Ф. Соло-

VII.

Смерть молчит, а девушкины речи
 Зависти огнем ей кости плавят,
 В жар и холод властно ее мечут,
 Что же сердце Смерти миру явит?
 Смерть — не мать, но — женщина, и в ней
 Сердце тоже разума сильней;
 В темном сердце Смерти есть ростки
 Жалости и гнева и тоски.
 Тем, кого она полюбит крепче,
 Кто ужален в душу влою тоскою,
 Как она любовно ночью шепчет
 О великой радости покоя!
 — «Что ж, — сказала Смерть, — пусть будет чудо!
 Разрешаю я тебе — живи!
 Только я с тобою рядом буду,
 Вечно буду около Любви!»

С той поры Любовь и Смерть, как острый
 Ходят неразлучно до сего дня.
 За Любовью Смерть с носом острый
 Тащится повоюю, точно сводня.
 Ходит, околдована острою,
 И везде — на свадьбах и на трини
 Неустанно, неулыбно страдая,
 Радости Любви и счастья Жизни.

Эта штука сильнее чем „Фауст“ Гете (любовь побеждает смерть) — надпись тов. Сталина на последней странице сказки М. Горького „Девушка и Смерть“.

11/11-37

М. Сталин

„Эта штука сильнее чем „Фауст“ Гете (любовь побеждает смерть)“ — надпись тов. Сталина на последней странице сказки М. Горького „Девушка и Смерть“.

губа, З. Гиппиус и других поэтов-декадентов.

Новая трактовка тем любви и смерти была связана в мировоззрении и творчестве Горького и с новой трактовкой темы природы. В статье «Как я учился писать» Горький так формулировал свой подход к художественному раскрытию темы природы: «...познание есть мышление. Воображение тоже, в сущности своей, мышление о мире, но мышление по преимуществу образами, «художественное»; можно сказать, что воображение — это способность придавать стихийным явлениям природы и вещам человеческие качества, чувствования, даже намерения». В этих словах отразилось активное, оптимистическое, творческое отношение к природе, в противоположность стремлению идеологически ущербной линии русской поэзии «уйти в природу» от противоречий действительности. К. Бальмонт в одном из своих стихотворений признавался:

Людей родных мне далеко страданье,
Чужда мне вся земля с борьбой своей.
Я — облачко, я — ветерка дыханье.

Здесь выражено не «одушевление природы», а полное растворение в «равнодушной природе». Для Горького же природа никогда не была равнодушной. «...Человек, — говорил Горький, — придает всему,

«что видит, свои человеческие качества, — вообразая вносит их всюду, во все явления природы, во все созданные его трудом, его разумом вещи». Принцип такого «очеловечивания» природы («антропоморфизма») выражен уже в ранних произведениях Горького, где море изображено в разных его состояниях — смеющееся и гневное, то говорящее о чем-то, то спящее, сочувствующее человеку или угрожающее ему. Такой «антропоморфизм» был одним из свойств образного восприятия действительности Горьким. «Пруды, озера, моря, — писал он, — всегда казались мне глазами земли, а в юности, которая стремглав убежала в недосыгаемую никому, кроме памяти, сказочную даль, в юности я даже писал такие стихи:

Синими очами океанов
Смотришь ты, земля моя родная,
На сестер твоих, золотые звезды,
На золотые звезды в небе синем.
О, какой тоскою светят в небо
Синей ночью очи океанов...»

В произведениях Горького природа живет своей особой «очеловеченной» жизнью. Таково метафорически развернутое изображение пейзажа в стихотворении «В Черноморье», где «тени тонких миндалей», упавшие с берегов в спящее море, сравниваются с улыбкой старых гор и где без-

молвное спокойствие скал противопоставлено плеску волн, притекших к их подножью, чтобы «нарушить мир их дум». Активное, лишенное созерцательности отношение к природе подготовило в творчестве Горького поэтизацию завоевания природы человеком, поэтизацию труда, изменяющего мир, поэтизацию «второй природы», создаваемой «энергией волн, разума, воображения человека».

Все это свидетельствует о том, насколько живыми и актуальными для нашей современности являются отношение Горького к поэтическому творчеству, его взгляды на задачи поэзии, начатый им пересмотр «всех главнейших тем старой поэзии», пересмотр, продолжать который он призывал советских поэтов. Горький — основоположник социалистического реализма — сделал для русской художественной прозы то же, что сделал Маяковский для русской поэзии. Но Горький — прозаик, публицист, критик, драматург — и в поэзии сумел сказать свое слово. В тех поэтических произведениях, которые он — взыскательный художник — решался печатать, мы видим стремление обновить не только идейное содержание, но и форму стихов. В своих зрелых поэтических произведениях Горький не шел по проторенным дорогам. Он инстинктивно улавливал обусловленную развитием русской поэзии необходимость перехода к новым, ломающим традиции

ритмам, он искал ораторские интонации, искал «гулких тяжелых слов». Особое внимание обращал он на соответствие формы содержанию, и внимательный читатель может проследить, как, например, в поэме «Девушка и Смерть» параллельно с развитием сюжета изменяется и лексика, и ритм, и система рифмовки.

Не лишено интереса, что своим отношением к поискам новых форм в поэзии Горький оказывался в некоторых моментах близким Маяковскому.¹ И не случайно Горький еще до Октябрьской революции оказал Маяковскому поддержку, способствовал опубликованию его произведений и несомненно влиял на его идейное развитие.

В заключение статьи, предназначенной для одного из выпусков малой серии «Библиотеки поэта», хочется напомнить о роли Горького в этом издании. «Библиотека поэта» возникла по инициативе Горького в 1932 г. и должна, по его мысли, «ознакомить молодежь Советского Союза с историей роста и развития русской поэзии». В статье «О «Библиотеке поэта» он подчеркнул, что издание это должно

¹ См. статью Б. Бялика «Горький и Маяковский» в сборнике «Маяковский», изд. Академии наук СССР, 1940.

способствовать повышению культуры молодых поэтов, освоению ими всего богатства поэтических форм, овладению техникой стиха. Вместе с тем «Библиотека поэта» должна, по его мнению, сыграть большую воспитательную роль, показывая, как отражались в поэзии изменения исторической действительности, как, в соответствии с развитием общества, в поэзии изменялась трактовка «вечных тем» — природы, любви, смерти. Особенно интересовался Горький изданием малой серии «Библиотеки поэта», рассчитанной на более широкие читательские слои. Многочисленные письма читателей в редакцию «Библиотеки поэта» говорят о том, что идея Горького вызвала глубочайший интерес к изучению развития русской поэзии.

По-горьковски овладевать многообразным художественным наследием прошлого — значит овладевать им творчески, чтобы еще успешнее строить новую культуру, девизом которой является вера в революционную мощь Человека, изменяющего мир и самого себя.

Б. Мейлах

ОТДЕЛ ПЕРВЫИ

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

Море огромное, лениво вздыхающее у берега, — уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собой золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно-задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены, — все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе

с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

— А-ала-ах-а-акбар!.. — тихо вздыхает Надыр-Рагим-Оглы, старый крымский чабан; высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, — у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими, камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда все кажется призрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко, и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота — это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную

даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

— Верный богу человек идет в рай. А который не служит богу и пророку? Может, он — вот в этой пене... И те серебряные пятна на воде, может, он же... кто знает?

Темное, могуче размахнувшееся море светлест, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

— Рагим?.. Расскажи сказку... — прошу я старика.

— Зачем? — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

— Так! Я люблю твои сказки.

— Я тебе все уж рассказал... Больше не знаю...

Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

«Высоко в небе сияло солнце, а горы зноом дышали в небо, и бились волны внизу о камень...

«А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

«Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

«Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

«С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень...

«Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

«Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел он ей прямо в очи:

«— Что, умираешь?

«— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх, ты, бедняга!

«Ну, что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

«Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

«И так подумал: «летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет...»

«Но Сокол смелый вдруг встrepенулся, привстал немного и по ущелью повел очами.

«Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

«И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

«— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

«А Уж подумал: «должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

«И предложил он свободной птице: «— А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся.

«Быть может, крылья тебя поднимут, и поживешь еще немного в твоей стихии».

«И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

«И подошел он, расправив крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.

«И сам, как камень, скользя по скалам,

он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

«Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в море.

«А волны моря с печальным ревом о камень бились... И тупа птицы не видно было в морском пространстве...

II

«В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

«И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

«— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть не надолго.

«Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прынул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

«Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

«Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденьи!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем

укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я — видел небо... Взлетел в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

«И он свернулся в клубок на камне, гордаясь собою.

«Блестело море все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

«В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поем мы славу!

«Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О, смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

«Безумству храбрых поем мы песню!..»

...Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывая шумя, ползет к голове Рагима.

— Куда идешь?.. Пшла! — машет на нее Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно — живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темносинему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Все дремлет, но дремлет напряженно-чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темносинюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения...

ПРОЩАЙ!

Прощай! Душа — тоской полна.
Я вновь, как прежде, одинок,
И снова жизнь моя темна,
Прощай, мой ясный огонек!..
Прощай!

Прощай! Я поднял паруса,
Стою печально у руля,
И резвых чаек голоса
Да белой пены полосы —
Все, чем прощается земля
Со мной... Прощай!

Даль моря мне грозит бедой,
И червь тоски мне душу гложет,
И грозно воев вал седой...
Но — море всей своей водой
Тебя из сердца смыть не может!..
Прощай!

В ЧЕРНОМОРЬЕ

Знойно. Тихо... Чудный вид!
Там, далеко, — море спит,
С берегов же в волны пали
Тени тонких миндалей,
И чинары в них купали
Зелень пышную ветвей;
И в прибрежной белой пене,
Как улыбка эти тени —
Как улыбка старых гор,
Чьи угрюмые вершины
Вознеслись туда, в пустынный,
Голубой простор,
Где суровый их гранит
От земли туманом скрыт.

Важно, молча и сурово
В бархат неба голубого
Смотрят главы старых гор,
Сизой дымкою объаты.
И пугают мысль и взор
Их крутые к морю скаты.
Им в дали небес не слышны
Вздохи волн и пены пышной —
Этот стройный плеск и шум,
Полный нежной, сладкой ложью,

Шум, притекший к их подножью,
Чтоб нарушить мир их дум.

Но безмолвны и угрюмы
Схоронили скалы думы
Глубоко в гранит сырой.
И одеты облаками
Так стоят они веками,
Тешась шумной волн игрой.
В мягком пухе нежной пены
Волны скалам, как сирены,
Что-то нежно так поют,
Но в ответ на них набег
Тайи суровые ковчеги
Ничего им не дают:
Ни намека, ни полслова,
Ничего из тайн былого...

Между камня выползали
Полусонные кусты
Роз, жасминов и азалий,
И кадили их цветы
Душной, сочною истомой
Небесам, объатым дремой,
Морю, серым грудам скал,
На которых чинно в ряд
Сели чайки и следят:
Не дарит ли их тот вал,
Что пришел из дали зыбкой,
Золотистой вкусной рыбкой?

Но седой, на эти груды
Набегая, — им дарил

Только брызги—изумруды,
И о чем-то говорил...
И, взмахнувши гребнем белым,
Вновь бросал движеньем смелым
Разноцветных брызг каскад.
А ему с вершины горной
Лысый гриф свой крик задорный
Вниз кидал... И вал назад
Уходил, кипя сердито,
О твердыни скал разбитый.

Моря даль покрыта сонной
Дымкой нежного опала.
Глубиной своей бездонной
В волны небо там упало
И смешалось с ними странно.
Мягко эти два титана,
Оба полны южным зноем,
Грудь на грудь друг другу пали,
Обнялись, слились — и спали.
И не видным глазу роем
Там, по светлой синей выси,
Надо мной в ту даль неслися
Грез гирлянды...
В чудном сне
Сам я жил, — казалось мне...

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятые крепким и бро-

сают их с размаха в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревушим гневно морем, то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..

МОНОЛОГ ВАСЬКИ БУСЛАЕВА

— Эх-ма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил, да сады всё сажил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господу:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то
какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты, вот, ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да — накладно будет — самому дорога!

ЛЕГЕНДА О МАРКО

В лесу над рекой жила фея,
В реке она часто купалась;
Но раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.
Ее рыбаки испугались...
Но был с ними юноша Марко;
Схватил он красавицу-фею
И стал целовать ее жарко.
А фея, как гибкая ветка,
В могучих руках извивалась,
Да в Марковы очи глядела
И тихо чему-то смеялась...
Весь день она Марко ласкала,
А как только ночь наступила —
Пропала веселая фея, —
У Марко душа загрустила...
И дни ходит Марко, и ночи
В лесу над рекою Дунаем,
Все ищет, все стонет: «Где фея?»
Но волны смеются: «Не знаем».
Но он закричал им: «Вы лжете!
Вы сами играете с нею!»
И бросился юноша глупый
В Дунай, чтоб найти свою фею
Купается фея в Дунае,

Как раньше до Марко купалась;
А Марко уж нету... Но, все же,
О Марко хоть песня осталась.

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут:
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!

А КТО ТАМ ИДЕТ
(Из Янки Купалы)

А кто там идет по болотам и лесам
Огромной такую толпой?

Белоруссы.

А что они несут на худых плечах,
Что подняли они на худых руках?

Свою кривду.

А куда они несут эту кривду всю,
А кому они несут напоказ свою?

На свет божий.

А кто ж это их, не один миллион —
Кривду несть научил, разбудил их сон?

Нужда, горе.

А чего ж теперь захотелось им,
Угнетенным века, им, слепым и глухим?

Людьми зваться.

ИЗ ДНЕВНИКА

Убийственно тоскливы ночи финской осени. В саду — злой ведьмой шепчет дождь; он сыплется третьи сутки и, видимо, не перестанет завтра, не перестанет до зимы.

Порывисто, как огромная издыхающая собака, воет ветер. Мокрую тьму пронзают лучи прожекторов; голубые холодные полосы призрачного света пронзает серый бисер дождевых капель. Тоска. И — люди ненавистны. Написал нечто подобное стихотворению.

— Облаков изорванные клочья
Гонят в небо желтую луну;
Видно, снова этой жуткой ночью
Я ни на минуту не усну.
Ветвь сосны в окно мое стучится.
Я лежу в постели, сам не свой,
Бьется мое сердце словно птица, —
Маленькая птица пред совой.

Думы мои тяжело упрямы,
Думы мои холодны, как лед.
Черная лапа о раму
Глухо, точно в бубен, бьет.

Гибкие, мохнатые змеи —
Тени дрожат на полу,
Трепетно вытягивают шеи,
Прячутся проворно в углу.

Сквозь стекла синие окна
Смотрю я в мутную пустыню,
Как водяной с речного дна
Сквозь тяжесть вод, прозрачно синих.
Гудит какой-то скорбный звук,
Дрожит земля в холодной пытке,
И злой тоски моей паук
Ткет в сердце черных мыслей нитки.

Диск луны, уродливо изломан,
Тонет в бездонной черной яме.
В поле золотая солома
Вспыхивает желтыми огнями.
Комната наполнена мраком,
Вот он исчез пред луной.
Дьявол, вопросительным знаком,
Молча встает предо мной.

Что я тебе, Дьявол, отвечу?
Да, мой разум онемел.
Да, ты всю глупость человечью
Жарко разжечь сумел!

Вот — вооруженными скотами
Всюду ошетижилась земля
И цветет кровавыми цветами,
Злобу твою, Дьявол, веселя!

Бешеные вопли, стоны,
Ненависти дикий вой,
Делателей трупов миллионы —
Это ли не праздник твой?

Сокрушая труд тысячелетий,
Не щадя ни храма, ни дворца,
Хлещут землю огненные плети
Стали, железа, свинца.

Все, чем гордился разум,
Что нам для счастья дано,
Вихрем кровавым сразу
В прах и пыль обращено.

На путях к свободе, счастью —
Ненависти дымный яд.
Чавкает кровавой пастью
Смерть, как безумная свинья.

Как же мы потом жить будем?
Что нам этот ужас принесет?
Что теперь от ненависти к людям
Душу мою спасет?

ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

Сказка

I

По деревне ехал царь с войны.
Едет — черной злобой сердце точит.
Слышит — за кустами бузины
Девушка хохочет.

Грозно брови рыжие нахмуря,
Царь ударил шпорами коня,
Налетел на девушку, как буря,
И кричит, доспехами звеня:

«Ты чего, — кричит он зло и грубо, —
Ты чего, девчонка, скалишь зубы?
Одержал враг надо мной победу,
Вся моя дружина перебита,
В плен попала половина свиты,
Я домой, за новой ратью еду,
Я — твой царь, я в горе и обиде, —
Каково мне глупый смех твой видеть?»

Кофточку оправя на груди,
Девушка ответила царю:

«Отойди, — я с милым говорю!
Батюшка, ты, лучше, отойди».

Любишь, так уж тут не до царей, —
Некогда беседовать с царями!

Иногда любовь горит скорей
Тонкой свечки в жарком божьем храме.

Царь затрясся весь от дикой злости,
Приказал своей покорной свите:
«Ну-те-ко, в тюрьму девчонку бросьте,
Или, лучше, — сразу удавите!»
Исказив угодливые рожи,
Бросились к девице, словно черти,
Конюхи царевы и вельможи, —
Предали девицу в руки Смерти.

И

Смерть всегда злым демонам покорна,
Но в тот день она была не в духе, —
Ведь весной любви и жизни зерна
Набухают даже в ней, старухе.
Скучно век возитьсЯ с тухлым мясом,
Истреблять в нем разные болезни;
Скучно мерять время смертным часом —
Хочется пожить побесполезней.
Все, пред неизбежной с нею встречей,
Ощущают только страх нелепый, —
Надоел ей ужас человеческий,
Надоели похороны, склепы.
Занята неблагодарным делом
На земле и грязной, и недужной,
Делает она его умело, —
Люди же считают Смерть ненужной.
Ну, конечно, ей обидно это,
Злит ее людское наше стадо,

И, озлясь, сживает Смерть со света
Иногда не тех, кого бы надо.

Полюбить бы Сатану ей, что ли,
Подышать бы вволю адским зноем,
Зарыдать бы от любовной боли
Вместе с огнекудрым Сатаною!

III

Девушка стоит пред Смертью, смело
Грозного удара ожидая.

Смерть бормочет, — жертву пожалела:

«Ишь ты, ведь, какая молодая!

Что ты нагрубилa там царю?

Я тебя за это уморю!» —

«Не сердись, — ответила девица, —

За што на меня тебе сердиться?

Поцеловал меня впервые милый

Под кустом зеленой бузины, —

До царя ли мне в ту пору было?

Ну, а царь, на грех, бежит с войны,

Я и говорю ему, царю,

Отойди, мол, батюшка, отсюда!

Хорошо, как будто, говорю,

А — гляди-ко, вышло-то как худо!

Что ж?! От Смерти некуда деваться.

Видно, я умру, не долюбя.

Смертушка! Душой прошу тебя —

Дай ты мне еще поцеловаться!»

Странны были Смерти речи эти, —

Смерть об этом никогда не просят!

Думает: «Чем буду жить на свете,

Если люди целоваться бросят?»

И на вешнем солнце кости грея,
Смерть сказала, подманив змею:
«Ну, ступай, целуйся, да — скорее!
Ночь — твоя, а на заре — убью!»
И на камень села, — ожидает,
А змея ей жалом косу лижет.
Девушка от счастья рыдает,
Смерть ворчит: «Иди, скорей, иди жет!»

IV

Вешним солнцем ласково согрета,
Смерть разула стоптанные лапти,
Прилегла на камень и — уснула.
Нехороший сон приснился Смерти!
Будто бы ее родитель, Каин,
С правнуком своим — Искаротом,
Дряхленькие оба лезут в гору, —
Точно две змеи ползут тихонько.
«Господи!» — угрюмо стонет Каин,
Глядя в небо тусклыми глазами.
«Господи!» — взывает злой Иуда,
От земли очей не поднимая.
Над горою, в облаке румяном
Возлежит господь, — читает книгу:
Звездами написана та книга,
Млечный путь — один ее листочек.
На верху горы стоит архангел,
Снопик молний в белой ручке держит.
Говорит он путникам сурово:
«Прочь идите! Вас господь
не примет!» —
«Михаиле! — жалуется Каин, —

Знаю я — велик мой грех пред миром!
И родил убийцу светлой Жизни,
Я отец проклятой, подлой Смерти!» —
«Михаиле! — говорит Иуда, —
Знаю, что я Каина грешнее,
Потому что предал подлой Смерти
Светлое, как солнце, божье сердце!»

И зывают оба они, в голос:

«Михаиле! Пусть господь хоть слово
Скажет нам, хоть только пожалеет —
Ведь прощенья мы уже не молим!»

Тихо отвечает им архангел:

«Трижды говорил ему я это,
Дважды ничего он не сказал мне,
В третий раз, качнув главою, молвил:
«Знай, — доколе Смерть живое губит,
Каину с Иудой нет прощенья.
Пусть их тот простит, чья сила может
Побороть навеки силу Смерти».

Тут Братоубийца и Предатель
Горестно завывали, зарыдали

И, обнявшись, оба покатались
В смрадное болото под горою.
А в болоте бесятся, ликуя,
Упыри, кикиморы и черти
И плюют на Каина с Иудой
Синими, болотными огнями.

v

Смерть проснулась около полудня,
Смотрит, — а девица не пришла!

Смерть бормочет сонно: «Ишь ты, блудня!
Видно ночь-то коротка была!»

Сорвала подсолнух за плетнем.

Нюхает, любит, как солнце

Золотит живым своим огнем

Лист осины в желтые червонцы.

И на солнце глядя, вдруг запела

Тихо и гнусаво, как умела:

«Беспощадною рукой

Люди ближнего убьют

И хоронят. И поют:

«Со святыми упокой!»

Не пойму я ничего! —

Деспот бьет людей и гонит,

А издохнет — и его

С той же песенкой хоронят!

Честный помер или вор —

С одинаковой тоской

Распеваает грустный хор:

«Со святыми упокой!»

Дурака, скота иль хама

Я убью мсей рукой,

Но для всех поют упрямо:

«Со святыми упокой!»

VI

Спела песню — начинает злиться,

Уж прошло гораздо больше суток,

А — не возвращается девица.

Это — плохо. Смерти — не до шуток.

Становясь все злее и жесточе,

Смерть обула лапти и онучи

И, едва дождавшись лунной ночи,
В путь идет, грозней осенней тучи.
Час прошла и видит: в перелеске,
Под росистой молодой орешней
На траве атласной, в лунном блеске
Девушка сидит богиней вешней.

Как земля гола весною ранней.
Грудь ее обнажена бесстыдно.
И на коже шелковистой, ланьей
Звезды поцелуев ярко видны.

Два соска, как звезды, красят грудь,
И — как звезды — кротко смотрят очи
В небеса, на светлый Млечный путь,
На тропу синеволосой ночи.

Под глазами голубые тени,
Точно рана — губы влажно алы.
Положив ей голову в колени,
Дремлет парень, как олень усталый.

Смерть глядит, и тихо пламя гнева
Гаснет в ее черепе пустом.

«Ты чего же это, словно Ева,
Спряталась от бога за кустом?»

Точно небом — лунно-звездным телом
Милого от Смерти заслоня,
Отвечает ей девица смело:

«Погоди-ка, не ругай меня!
Не шуми, не испугай беднягу,
Острою косою не звени!
Я сейчас приду, в могилу лягу.
А его — подольше сохрани!
Виновата, не пришла я к сроку,
Думала — до Смерти недалеко.
Дай еще парнишку обниму:

Больно хорошо со мной ему!
Да и он — хорош! Ты погляди,
Вон какие он оставил знаки
На щеках моих и на груди.
Вишь, цветут, как огненные маки!»
Смерть стыдась тихонько засмеялась:
«Да, ты будто с солнцем целовалась.
Но — ведь у меня ты не одна, —
Тысячи я убивать должна!
Я ведь честно времени служу,
Дела — много, а уж я — стара,
Каждую минутой дорожу,
Собирайся, девушка, пораз!»
Девушка — свое:
«Обнимет милый,
Ни земли, ни неба больше нет.
И душа полна нездешней силой,
И горит в душе нездешний свет.
Нету больше страха пред Судьбой
И ни бога, ни людей не надо!
Как дитя — собою радость рада,
И любовь любит себя собой».
Смерть молчит задумчиво и строго,
Видит — не прервать ей этой песни!
Краше солнца — нету в мире бога,
Нет огня — огня любви чудесней!

VII

Смерть молчит, а девушкины речи
Зависти огнем ей кости плавят,
В жар и холод властно ее мечут,
Что же сердце Смерти миру явит?

Смерть — не мать, но — женщина, и в ней
Сердце тоже разума сильнее;
В темном сердце Смерти есть ростки
Жалости и гнева, и тоски.

Тем, кого она полюбит крепче,
Кто ужален в душу злой тоскою,
Как она любовно ночью шепчет
О великой радости покоя!

«Что ж, — сказала Смерть, —
 пусть будет чудо!
Разрешаю я тебе — живи!
Только я с тобою рядом буду,
Вечно буду около Любви!»

—
С той поры Любовь и Смерть, как сестры,
Ходят неразлучно до сего дня,
За любовью Смерть с косою острой
Тащится повсюду, точно сводня.
Ходит, околдована сестрою,
И везде — на свадьбе и на тризне
Неустанно, неуклонно строит
Радости Любви и счастье Жизни.

БАЛЛАДА
О ГРАФИНЕ ЭЛЛЕН ДЕ КУРСИ,
украшенная различными сентенциями,
среди которых есть весьма забавные

Известно ли Вам, о мой друг, что
в Бретани
Нет лучше — хоть камни
спроси! —
Нет лучше средь божьих
созданий
Графини Эллен де Курси?

Все, что творится в мире,
Мы видеть и слышать должны,
Для этого нам добрым богом
Глаза и уши даны.

Из замка она выплывает, как лебедь,
К подъемному мосту идет.
Солнце смеется в небе.
Нищий стоит у ворот.

Но если случится — излишне
Остер и зорок глаз,
Тогда это значит — Всевышний
Хочет помучить нас.

Влюбленные очи поднять не дерзая,
За ней юный паж по следам,
А также собака борзая —
Любимица доброй мадаме.

Мы знаем — не редко собака
Любимого друга честней,
И приятно любить собаку —
Никто не ревнует к ней!

Скажу Вам, что нищий был молод и
строен
И — был он слеп, как поэт.
Но — разве слепой не достоин
Внимания дамы, — нет?

Слепой завидует зрячим.
О, если б он знал, сколько мы
В душе нашей тайно прячем
Тяжелой и страшной тьмы!

Вздогнуло сердце графини, в котором
Любовь обитала всегда,
Бретонка окинула нищего взором:
«Достин внимания, да!»

У всех есть мысли сердца, —
У льва, у тебя, у змеи.
Но — кто эти мысли знает?
И — знаешь ли ты свои?

И вот говорит она нищему: «Слушай!
С тобою — графиня Эллен!

Мне жаль твою темную душу.
Чем я облегчу ее плен?»

Когда ты почувствуешь в сердце
Избыток меда иль яда,
Отдай его ближним скорее —
Зачем тебе лишнее надо?

«Madame, — отвечает ей нищий покорно, —
Моя дорогая madame
Все дни моей жизни черной
За Ваш поцелуй я отдам!»

О правде красивой тоскуя,
Так жадно душой ее ждешь,
Что любишь безумно, как правду,
Тобой же рожденную ложь.

«Мой маленький, ты отвернись
немного, —
Сказала графиня пажу, —
Для славы доброго бога
Я скромность мою не щажу!»

Как всё — и женщина тоже
Игрушка в божьих руках!
Подумаем лучше о детях,
О ласточках, о мотыльках.

Слепой обнимает стан гордой графини,
Устами прижался к устам,
Туманится взор ее синий,
Сгибается тонкий стан.

Друзья! Да здравствует счастье!
Что ж, — пусть его жизнь только миг!
Но мудрости в счастье больше,
Чем в сотне толстых книг.

Тут гордость графини вдруг страсть одолела.
Румяней вечерней зари,
Бретонка пажу повелела:
«Этьен, о дитя, не смотри!»

Враги наши — чорт и случай —
Всегда побеждают нас,
И так ты себя не мучай —
Греха неизбежен час!

Потом, поднимаясь с земли утомленно,
«Убей» — приказала пажу.
И радостно мальчик влюбленный
Дал волю руке и ножу.

Кто пьет из единой чаши
Любовь и ревность вместе, —
Тот неизбежно выпьет
Красный напиток мести.

Вот, влажные губы платком стирая,
Графиня сказала Христу:
«Тебе, повелитель рая,
Дала я мою чистоту!»

О том, куда ветер дует,
Нам честно былинка скажет,
Но то, чего женщина хочет —
Сам бог не знает даже!

мальчика нежно и кротко спросила:
«Не правда ли, как я добра?
О чем же ты плачешь, милый?
Идем, нам домой пора!»

Любовь возникает, как пламя,
И мы, сгорая в нем,
Чудесно становимся сами
Прекрасным и ярким огнем.

ей не ответил, он только беретом
Смахнул капли слез со щек,
Но тяжкого вздоха при этом
Этьен удержать не мог.

Мы щедро жизнь одаряем!
Ведь каждый в нее принес
Немножко веселого смеха
И полное сердце слез.

кмурила черные брови бретонка
И, злые сдержав слова,
Сбросила с моста ребенка
В зеленую воду рва.

Если мы строго осудим
Всех, кто достоин кары, —
Мы счастливей не будем,
Но — опустеет мир старый!

вновь свои гордые, синие очи
Эллен в небеса подняла,
«Будь мне судьбою, отче,
Будь добр, как я была!»

Мы знаем: грехи красоток —
Не больше, как милые шутки.
А бог — так добр и кроток,
А он такой мягкий и чуткий!

Ночью графиня, позвав аббата,
Рассказала грехи свои.
И были с души ее сняты
Грехи за пятнадцать луи.

Все, что творится в мире,
Мы видеть и слышать должны,
Для этого нам добрым богом
Глаза и уши даны.

Все это для мира осталось бы тайной,
Не знал бы об этом свет,
Но — в лепту попало случайно
Девять фальшивых монет.

Но если бывает — излишне
Остер и зорок глаз,
Тогда это значит — Всевышний
Хочет помучить нас.

И вот, раздавая их бедным вилланам,
Монах позлословить рад —
Нескромность его и дала нам
Одну из прекрасных баллад.

Мучительны сердца скорби, —
И часто помочь ему нечем, —
Тогда мы забавной шуткой
Боль сердца успешно лечим!

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

О ЧИЖЕ, КОТОРЫИ ЛГАЛ, И О ДЯТЛЕ — ЛЮБИТЕЛЕ ИСТИНЫ

Это очень правдивая история, и я начну ее так:

— Вдруг изо всех певчих птиц той рощи, в которой произошел этот любопытный случай, привлекла к себе общее внимание одна, запевшая песни, исполненные не только надежд, но и уверенности.

До той поры все птицы, испуганные внезапно наступившей серенькой и хмурой погодой, пели песни, которые только потому и назывались песнями, что их пели; в них преобладали унылые и безнадежные ноты, и птицы-слушатели сначала называли их хрипеньем умирающих, но потом понемногу привыкли и даже стали находить в них разные красоты, что, однако, стоило им большого труда.

Тон всему в роще давали вороны, птицы по существу своему пессимистические и, кроме более или менее громкого карканья, ни к чему не способные. В другое время на них бы не обратили внимания, но теперь, когда их голоса преобладали, их слушали и даже считали очень мудрыми

птицами. А они, подмечая это, мрачно распевали:

Карр! В борьбе с суровым роком
Нам, ничтожным, нет спасенья.
Все, на что ни взглянешь оком, —
Боль и горе, прах и тленье...
Карр!.. Страшны удары рока!
Мудрый пусть им покорится...

Карр! карр!.. Скучная песня!.. Но —
сильная, она угнетала всю рошу.

И вдруг зазвучали смелые песни...

Вся роша, много слышавшая песен,
встрепенулась, удивленно и тихо шелестя
ветвями. И даже соловьи, которые всегда
поют недурно, потому что они жрецы
чистого искусства, с удовольствием слу-
шали и говорили:

«А ведь у этого певца есть искорка!»

И, говоря так, втайне гордились своим
беспристрастием.

А певец пел:

Я слышу карканье ворон,
Смущенных холодом и тьмой...
Я вижу мрак, — но что мне он,
Коль бодр и ясен разум мой?..
За мной, кто смел! Да сгинет тьма!
Душе живой — в ней места нет!
Зажжем сердца огнем ума,
И воцарится всюду свет!..

— Сильно спето! — комментировали соловьи... — Молодо, самонадеянно, не музыкально — но сильно... — и, глубоко-мысленно почистив носики, они слушали дальше:

Кто честно смерть приял в бою,
Тот разве пал и побежден?
Пал тот, кто, робко грудь свою
Прикрыв, ушел из битвы вон...
Друзья! И тот пал, кто, боясь
Труда, волнений, боли, ран,
О битве судит, погружаясь
В философический туман.

— Гм... у него очень оригинальные взгляды! — отметили соловьи. — Хотелось бы знать, что это за птица!.. — полюбопытствовали они.

Друзья! Пусть падшие молчат.
Им очи съел сомнений дым;
В сердцах их честь и гордость спят...
Друзья! Давайте крикнем им:
Прочь! Ваших мудрствований чад
Темнее сделал эту ночь,
И отравляет он, как яд,
Умы и души юных... Прочь!..
Прочь!.. Здесь объявлена богам
За право первенства война!

— Это смело! — сказали соловьи. — О, да!.. это очень смелая песня!..

Роща слушала и ощущала нечто хорошее и сильное, это ощущение наполняло ее теплом и светом, и даже старые, серыми лишаями покрытые ветви деревьев зашептали о прошлых днях. То были славные весенние дни, когда в роще только что начинали расцветать цветы и надежды, когда птицы пели звучные гимны солнцу, а свободное от туч небо казалось бесконечно глубоким и точно звало птиц попытать силу крыльев — достигнуть его глубины. То были хорошие дни, когда не нужно было принуждать себя жить, потому что жить хотелось, — была цель и была надежда достичь ее. И эти дни явились перед рощей и, как звезды, заблистали в тумане, скрывавшем от нее небо.

Птицы восторженно встрепенулись и ожили. Где певец? Пусть он примет дань восторга и благодарности! Это, должно быть, великолепная, красивая птица!

Они собрались целой тучей и ринулись туда, откуда навстречу им летели бодрые и гордые звуки.

Но когда они прилетели, то увидели, что это просто чиж — самый заурядный, маленький, серенький, с восковым носиком чиж. Он сидел на ветке орешника и был смущен оказанной ему честью; мизерный, взъерошенный и суетящийся, он возбудил во всех недоумение и никому не понравился.

Прочь!.. Здесь объявлена богам
За право первенства война!

Когда это кричит орел, сокол, ястреб, наконец, — это и красиво, и мощно; но чиж — чиж, объявляющий войну богам!.. Тут есть некоторое несоответствие, что-то странное и смешное. И это прямо-таки обидно для всех остальных птиц. Почему именно чиж, а не щегленок, зяблик, снегирь?..

Пораженные и обиженные птицы смотрели на чижа и думали: «Что же теперь будет?»

И невольно им вспомнилась эта смешная синица, которая однажды хотела зажечь море...

Но тут один находчивый щегленок спросил чижа:

— Послушайте-ка, это вы сейчас пели?

— Я... — отвечал чиж, — да, это я пел.

— Гм... а чем вы это докажете? То есть мы, конечно, не сомневаемся в ваших способностях, но...

Чиж вздрогнул, у него встали дыбом перья, и он запел:

Во тьме нами созданной ночи

Прносятся серые совы...

И блещут их мрачные очи

И злы, и угрюмо суровы!..

И гулко их крики несутся,

Смеются они и рыдают,

Проклятья в них дню раздаются,
А ночь они смехом встречают...
О, если бы мрака оковы
С моей юной роши упали,
Исчезли бы дикие совы
И соколы только б летали!..¹
Но соколы, — слабы и хилы, —
Забились робко в ущелья
И злятся без чести и силы
Под звуки чужого веселья.
Их крылья уныло повисли,
Постыдно сердца у них дремлют,
И голосу чести и мысли
Свободные птицы не внемлют...

Некоторым птицам эта песня показалась личностью, и они засвистали чижу, а щегленок сказал:

— Хорошо, этого достаточно для нас! Но вот что — скажите: вы, так сказать, будите наше сознание... гм!.. а какие собственно у вас права на это? То есть, я хочу сказать — во имя чего поете вы?!

Чиж изумился и молча смотрел на публику.

— Мы, видите ли, хотим гарантировать себя от ошибок, которых, вы знаете,

— —
¹ В первоначально напечатанном тексте далее следовали строки:

И били бы птицу «очную,
Что с ралос ь» день провожает,
Что бедную 1 ошу родную
Во мраке держать п. одолжает.

у нас было многоныко таки, и с этой целью мы хотели бы знать ваши исходные и конечные пункты, — знать, куда и зачем нас зовут? — поставил вопрос щегленок и, довольный собой, засвистал что-то чужое: у щеглят нет своих песен, как известно.

Чиж встрепенулся. . .

— Я исхожу из непоколебимого убеждения в высоком призвании птиц, как, конечно, самого сложного и мудрого акта в творчестве природы. Мы не должны уставать, мы должны всегда бороться и все победить, чтобы оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее — это мы, а не слепая сила стихий. Путь, по которому нам нужно итти, мне незнаком, но я уверен, что нужно итти вперед. Там страна, достойная быть наградой за те труды, которые понесли мы в пути! Там вечный, неиссякаемый свет, там неведомые нам чудеса; там мы насладимся созерцанием нашей силы, и весь мир будет ареной наших деяний, величие которых невозможно представить нам теперь, там мысль наша разрешит все, и наши чувства, осложненные до чудесного, откроют перед нами новый мир неиспытанных наслаждений; там она — жизнь, достойная нас! . . . Уважайте и любите друг друга и, идя гордой и смелой дружиной к победе, не сомневайтесь ни в чем, ибо что есть выше вас? . . . Обернитесь назад

и посмотрите, чем вы были раньше, — там, на рассвете жизни? Вся ваша вера тогда — не стоила одной капли сомнения, теперь... Научившись там страшно сомневаться во всем, вам пришла пора — уверовать в себя, ибо только великая сущность может дойти до такого сомнения, до какого дошли вы!..

Туда — в страну счастья! Туда — в это чудесное «вперед»!..

— Вперед! — крикнули птицы, ибо в их сердцах загорелась гордость собой.

Слезы вдохновения и веры наполнили глаза чижа. И все птицы пели, и всем стало так легко, все чувствовали, что в сердцах родилось страстное желание жизни и счастья.

— Позвольте, позвольте!.. Я прошу слова... Слово мне!..

Это кричал дятел с верхушки осины. И когда его услышали, то ему тотчас же дали слово, потому что он кричал очень громко.

— Мм. Гг. и Гг! — заговорил дятел. — Рекомендуюсь: я дятел. Я питаюсь червяками и люблю истину, которой неуклонно служу и которая понуждает меня сказать вам, что вас нагло обманывают. Все эти песни и фразы, слышанные вами здесь, Мм. Гг., не более, как бесстыдная ложь, что я и буду иметь честь доказать вам с фактами в руках... С фактами в руках, Мм. Гг! А спросите г-на Чижа, где

те факты, которыми он мог бы подтвердить то, что сказал? Их нет у него, а именно они-то и нужны ему более чем мне; они — всё, Мм. Гг., и все мы — не более, как только крошечные факты, подтверждающие грандиозный факт мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, как дети подчиняются матери.

— Рассмотрим беспристрастно, что есть там — впереди, куда зовет нас г. Чиж. Все вы вылетели на опушку рощи и знаете, что сейчас же за нею начинается поле, летом голое и сожженное солнцем, зимой покрытое холодным снегом; там, на краю его, стоит деревня, и в ней живет Гришка, человек, занимающийся птицеводством. Вот первая станция по пути «вперед», о котором так много наговорил здесь г-н Чиж!

— Предполагая, что мы устремимся вперед сообразно его желанию, — в бескорыстии которого я позволю себе усомниться, ибо знаю, что чижи, как и все другие существа, не прочь от популярности, славы и т. п., — предполагая, что мы благополучно минем сети Гришки и пролетим мимо деревни, мы опять-таки очутимся в поле; а на конце его снова встретим деревню, а потом снова — поле, — деревня, — поле... и, так как земля кругла, то мы должны будем необходимо долететь до той самой рощи, в которой, в данный момент, я имею высокую честь говорить с вами.

— Это ли та страна, в которой, по словам г-на Чижа, мы получим награду за наши труды?.. Это ли она?!

— Я знаю вас, Мм. Гг. и Гг., я знаю, сколь высоко вы летаете, но... как ни горько мне говорить вам это, — я знаю и то, что никто из вас не взлетел и не может взлететь выше самого себя.

— Попытка г-на Чижа завоевать себе ваше внимание, путем отуманивания вас блестящими и громкими фразами, ясно указывает на степень высоты его мнения о вас, как о здравомыслящих существах?!. Эта попытка должна быть строго наказана, Мм. Гг. и Гг!..

И, преисполненный сознания выполненной им общественной обязанности, мудрый дятел, окинув торжествующим взглядом слушателей, стал долбить кору осины, на ветвях которой он восседал.

Птицы молча смотрели на чижа и видели, как из его глаз одна за другой скатывались слезинки. О чем он мог плакать, как не о своей вине перед ними! Такой мизерный, серенький и лживый чиж!

А он понуро смотрел туда вдаль, и его глазки точно прощались там с чем-то.

Молчала роща, и птицы шумно разлетались по своим местам. Утелел и дятел, сопровождаемый почтительным преклонением пред его мудростью.

День был такой грустный; он точно расплакаться о чем-то собирался.

И вот чиж, который лгал, остался один. Неподвижный и подавленный, он сидел на ветке орешника, и только одна сойка с любопытством поглядывала на него из робкой дрожащей листвы осины. Но это ей наскучило и, насмешливо свистнув, она улетела.

А чиж остался и, сидя на ветке орешника, думал:

«Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо!.. Я же только и хотел пробудить веру и надежду, — и вот почему я солгал... Он, дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья?»

И оглянувшись кругом, бедный маленький чиж нахохлился.

Вот и вся история... Прочитав ее, ты, конечно, увидишь, что чиж благороден, но не имеет веры и поэтому нищ духом; дятел благоразумен, но пошел, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они в сущности черствы сердцем и мелки, позорно мелки... Увидав это, ты подумаешь, что я неверно рассказал эту до слез смешную историю. Думай так, если это тебя утешает, думай!..

О МАЛЕНЬКОЙ ФЕЕ И МОЛОДОМ ЧАБАНЕ

Валлшская сказка

У людей очень много грустных сказок; промолчим на вопрос, почему это так, и послушаем одну из них, новую сказку на старую тему, которую рассказывают на Дунае, голубой реке...

Над Дунаем есть лес, старый, мощный лес. Он начинается с берега и входит далеко в глубь полей; ветви его деревьев нависли над синими звучными волнами реки, и корни их, узловатые и сморщенные, вода целует и моет, набегая на берег с тихим, ласковым звуком.

Жили в этом лесу эльфы и феи, и старые, мудрые гномы построили в нем, под корнями деревьев, дворцы свои, сидя в которых они думали думы про жизнь и все другое, про что нужно думать, чтобы быть мудрецом.

Ночами они выходили на тенистый берег реки и, сидя на камнях, поросших мягким темнозеленым мхом, и на старых, повален-

ных бурею стволах деревьев, смотрели на волны и слушали то, что они шептали, тихо пробегая до моря из непонятной, туманной мглой занавешенной дали.

В том же лесу жили и старая царица фей и четыре ее дочери, а из них самая меньшая была самой веселой, красивой и смелой. Она была очень маленькая, и ее головка, вся в серебряных волнистых кудрях, походила на пышно расцветшую лилию.

Целые дни она бегала по лесу, а когда уставала, то садилась на ветви старого дуплистого бука; он стоял близко к тому краю леса, что выходил в степь. Это было ее любимое место, и с него через пышный полог душистых зеленых ветвей, волновавшийся как море, чуть над ним промчится ветер, — она видела бесконечную ширь степи, начинавшейся сейчас же за лесом и уходившей туда — в розовато-голубую даль, где ее край касался мягкой синевы неба.

Она сидела высоко на ветках, ветер тихо качал их под ней, и она пела, нежась на солнце, о том, как хорошо быть феей и жить в старом, тенистом лесу.

Птицы, бабочки и все, кто жил вместе с нею, очень любили ее, и ей жилось хорошо, очень хорошо.

И вот с нею-то и случилась эта грустная история, о которой рассказывали мне дунайские рыбаки.

Был май, — славный, веселый май; свежая, яркозеленая листва, рожденная им, ликовала; шум ее лился широкой и звучной струей в лазурно-яркое небо, — а в нем тихо плавали белые, пуховые облака и таяли в ярких лучах веселого солнца весны.

Фея качалась на ветках могучего бука и пела; старые ветви музыкально и тихо скрипели, и зелень их шумно шептала хвалу песне красавицы феи:

Хорошо на ветках бука
В ясный майский день качаться
И волной душистой звука
Песни леса упиваться!

Это была ее любимая и бесконечно длинная песня.

Хорошо веселой белкой
Прыгать с той на эти ветку,
Разрывая белой ножкой
Паука лесного сетку!..

И вдруг до ее слуха донеслась, как бы в ответ ей, другая звонкая и смелая песня:

Хорошо в степном просторе,
Напоенном мягким зноем,
Наблюдать, как в небе-море
Мчатся тучки легким строем!

Фея удивилась и испугалась немного: эта песня прилетела со степи, и тот, кто ее пел, умел петь; звонко и стройно звучал его голос и, точно поддразнивая ее, вызывал на состязание.

Ветра буйного порывы
Степью бешено летят,
Точно в небе крошки звезды
Погасить они хотят!

Это пел ни один из жаворонков и никто из соловьев: она знала все их песни! Кто же это пел? Ей захотелось узнать.

Как красива сеть ветвей
Дуба мощного и вяза!

Она замолчала, — и так как она была женщина, она была тщеславна, а потому тотчас же и подумала, что со дня своего рождения лес не слышал такой красивой и звучной песни, как вот эта, которую она только что спела. Но не успел еще лес шумом ветвей сказать ей спасибо, как со степи полилось:

Степь родная! От края до края
Ковылем поросла ты седым;
Вольный ветер, с ним нежно играя,
Над тобой мощной птицей летает
И веселые сны навевает...

И плывут, и клубятся, как дым,
Стаи туч с высоты голубой
Далеко, далеко над тобой!..

Маленькая фея белкой взобралась на самую вершину и смотрела в степь. В ней догорал день, и ее край, о котором пелось, был окрашен в яркий пурпур, точно там был развешен громадный бархатный занавес и в складках его горело золото. А на пышном фоне этого занавеса рисовалась такая красивая и странная фигура кого-то с длинной палкой в руках и в белой овечьей шкуре на плечах и поясе. Она стояла на одном из тех маленьких холмиков, под которыми живут суслики и кроты, и, простирая руки к лесу, пела. Больше ничего не было видно. А когда песня, смелая и звонкая, была пропета, фее так сильно захотелось посмотреть поближе на того, кто ее пел, что она готова была побежать туда, но, вспомнив рассказы матери о том, что по степи часто ходят люди и что с ними лучше не встречаться, коли не хочешь несчастья, — удержалась и молча, не отрываясь, все смотрела на певца. А он, кончив свою песню, взмахнул над головой палкой, свистнул и, крикнув к лесу: «Эгой! Прощай!», легкими шагами пошел туда, в степь, откуда выплывали навстречу ему тонкие стаи мутно-голубой мглы, пошел и снова стал петь.

Есть ли что-нибудь для глаза
Поля голого мертвей? !.

Как серебряные колокольчики звенел ее
голос, когда она пела эту песенку — вызов,
и в ответ получила:

Сеть из сучьев черных сплел
Этот старый, хмурый лес,
И лазурный свод небес
Глаз мой в нем бы не нашел.

Это фею рассердило. Разве сквозь ветви
деревьев не видно лазурного неба? Тот,
кто пел эти песни, никогда не бывал в
лесу. А вот что хорошего в бесконечном
большом и голом поле, — это трудно ска-
зать и мудрецу! Она громко закричала
в степь:

Если по степи проносятся вьюги,
Дико и буйно в ней ветер поет.
Лес в это время в тоске и испуге
Страшно шумит и мне спать не дает!

Когда она прислушалась, — в степи кто-
то весело смеялся.

— Ах, как это невежливо! — вскричала
фея и почувствовала в себе желание
победить.

Лесу хвалу я пою! —

запела она звонко. Весь лес до последнего кустика ласково зашумел бархатной листвой, и ее голос жаворонком взвился в небо.

Слушайте, птицы, меня!..

И неутомимо певшие птички замолчали, чтобы послушать и поучиться славить лес:

Песнь моя! Громко звеня,
Лейся ты в небо прекрасное!
Солнце! Ты песню мою
Златом лучей облеку
И преврати в огоньки
Чистые, кроткие, ясные!..
Пусть они песнью без слов
Ночью по лесу летают
И светляками сияют
В зелени мощных дубов!

И тут она встала на мощный сук дуба, вдохновенно закинув голову назад, и, подняв маленькие белые ручки к небу, пела далее:

Мой старый, добрый, чудный лес!
Ты тайны мира, ты мир чудес!
Купаясь в запахе густом
Тобой взлелеянных цветов,
Веселых пташек дивный хор
Тебе хвалы поет!..
Под каждой веткой и листком
Живут букашки, мотыльки...

А меж корнями в мраке нор
Живет суровый крот;
И робкий кролик, и лиса,
И желтый уж, и острый еж,
И резвый эльф, и мудрый гном;
В тебе нашли приют!
О лес!.. Всех птичек голоса —
Пускай хоть век они звенят —
За ночью ночь и день за днем,
Тебя не воспоют,
Мой старый, чудный, мощный лес!

Тихо ветер тучи гонит,
Тени их на степь упали...
И ковыль головки клонит, —
Это тени стебли смяли.

Тихий шорох ковыля
Плавно льется в небеса,
Точно чьи-то голоса
Шепчут сказки, веселя
Душу юную мою.

Хищный беркут плавно вьется
Там высоко точкой черной,
И оттуда клетот льется,
Клетот мощный и задорный.
Царство силы и свободы —
Степь могучая моя...

Потом слова песни сделались неслышными, в лес летели одни только звуки...

и фее было сладко слушать их, а когда и они пропали, потерялись в безграничной степной равнине, она, вместе с ними, потеряла и силуэт певца, утонувшего в мягком море мглы. Тогда она задумчиво спустилась на землю и тихо пошла в свой дворец, но то, что раньше интересовало ее, — игры эльфов с мотыльками, и сияние светляков, и работа меж ветвями домовитых пауков, шорох листьев под ногою, тени мягкие на всем, и согнувшийся дугою погулять идущий гном, — все это не останавливало на себе ее ясных глаз, она думала о том, кто так много и так славно пел там, в степи, и ей очень хотелось узнать, что это было. Вот она пришла к себе. Ее мать и сестры собирались на свадьбу к одному почтенному скроту и стали звать ее с собой, но ей не захотелось и этого; тогда мать спросила ее:

— Что ты такая грустная, Майя? Ты устала или тебя опять напугали эти старые разбойники — вороны?

— Нет, не это, мама, — совсем не это!

И она рассказала все, что с ней было, а потом спросила, что такое было это.

Сестры ее не удивились ее рассказу, они вскричали:

— Просто это чабан! а ты — дурочка! — и убежали куда-то, смеясь, бросая друг в друга цветами и крича: «Мы вас ждем!..»

— Да, это только чабан, моя дочка! — сказала фея-мать. — Он еще молод, должно быть, вот и распелся так; когда поживет, так разучится петь.

Она опытная была, эта царица фей.

— Что значит чабан, мама? — спросила Майя.

— Чабан — это тоже человек. Он пасет овец и потому называется чабан. Чабаны, впрочем, все-таки лучше других людей, не так злы и лживы, как те; должно быть, это потому, что они все время живут с овцами.

— Он не может ничего дурного мне сделать, мама?

— Он-то? Нет, я думаю, что может, потому что ведь он все-таки человек. Но ведь он к тебе не пойдет, ты к нему — тоже? Не так ли? Тебе нечего бояться, девочка!

И опять скажу: царица фей была редкая женщина: она была умна и хорошо знала людей, но, видно, позабыла кое о чем на этот раз.

Майя замолчала, и они пошли на свадьбу крота. Там было весело, собрался чуть ли не весь лес: громадная толпа кузнечиков и стрекоз составила очень звучный оркестр и славно играла; эльфы, мотыльки и другие обитатели леса танцевали и пели, а царица фей с дочерьми сидела на пышном троне из тюльпанов, и майские жуки служили ей, поднося то росу с соком

фиалок, то молоко из лесных орехов и разные другие кушанья и сласти; мудрые гномы толковали между собой о жизни и других тайнах; мудрейшие еще больше убеждались в том, что действительно все суета сует и томление духа. Было очень весело!

Жених был приветлив и очень важен, потом он был не глуп и очень зажиточен. Гости ни на что не могли пожаловаться и с любезными улыбками выслушивали его рассуждения о том, что главное в жизни общества — семья, он это понимает и вот женился, чем в некотором роде оказал обществу услугу, добавив к общей сумме его звеньев — семей еще одну.

Невеста была, должно быть, очень счастлива, потому что все время молчала, и, когда ее спрашивали о чем-нибудь, она, вместо ответа, улыбалась такой мягкой и доброй улыбкой.

Мае было скучно. Улучив минутку, она спросила крота: что он думает о чабанах?

— Чабаны?! Скрр!.. брр... Я-таки близко знаю их! О, да, принцесса, я-таки имел с ними дело! Они бедны всегда, и потому все негодяи и разбойники. О, да, это уж верно! Это так! Чабаны?! Огэ! Они не имеют никакой собственности, кроме самих себя; а всякий, не имеющий собственности, — вор, ибо чем бы он жил, раз он не вор?! Но, впрочем, он может быть нищим, — это еще хуже, потому что

воровать — это все-таки труд. Один из чабанов раз бросил в меня своей длинной палкой, потом бежал за мной до той поры, куда я не убрался в нору; да, это было так!

— Зачем он бросил? — спросила Майя.

— Зачем? Я думаю, просто затем, что я имел неосторожность пройти близко от него, вот и все, отнюдь не больше. Ведь чабаны — люди, как хотите, и с них спрашивать много нельзя!

Майе стало еще скучней. Все, что происходило перед ее глазами, было совсем не так интересно, как интересно оно было раньше. Она была очень рада, когда мама объявила, что пора идти домой. И вот они пошли. Светляки бежали перед ними, светя им; лес уже спал. И небо спало, а звезды смотрели с него на землю и улыбались ей задумчиво и тихо.

Потом пришли домой.

Майя легла спать на свою кроватку из ландышей, а когда заснула, то видела бесконечно широкую, сожженную солнцем степь, и там на холмах стояло много чабанов с длинными палками в руках, и ветер играл их черными кудрями; они пели громкую, страшную песню о свободе и о степи, и бегали за кротами, громко крича: «эйгой! гой!» Они были злы и страшны и очень пугали ее. Но это не помешало все-таки ей, как только взошло солнце, побе-

жать на свое любимое место и взобраться
на ветви бука.

Он был там и пел:

В лесу над рекой жила фея,
В реке она ночью купалась
И раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.

Смотрели рыбаки, дивились...
Любимый товарищ их, Марко,
Взял на руки нежную фею
И стал целовать ее жарко.

А фея, как гибкая ветка,
В могучих руках извивалась,
Да в Марковы очи смотрела
И тихо над чем-то смеялась.

День целый они целовались,
И чуть только ночь наступила, —
Пропала красавица фея,
А с нею и Маркова сила.

Дни Марко все рыскал по лесу,
А ночи сидел над Дунаем
И спрашивал волны: «Где фея?»
А волны смеются: «Не знаем».

Повесился Марко на горькой,
Трусливо дрожащей осине...
И други его схоронили
Над синим Дунаем в теснине.

Ночами к нему на могилу
Та фея сидеть приходила...
Сидит и над чем-то смеется...
Ведь вот как веселье любила!

Купается фея в Дунае,
Как раньше до Марка купалась...
А Марка уж нету! От Марка
Лишь песня вот эта осталась!

Это была очень веселая песня, в голосе чабана ясно звучал смех, беззаботный и вольный, как сам чабан.

«Вот странная песня! — думала фея. — У кого он научился петь ее? И фея в этой песне странная, и Марко тоже странный. Почему он повесился и что это значит — повеситься?» Ей казалось, что это не веселая песня, а очень грустная. — Чабан же поет ее так весело... Она смотрела на него через вершины деревьев и хотела, чтобы он подошел ближе.

Но он не ушел, а все пел и в такт своей песне помахивал палкой в воздухе; кончая одну песнь, звонко вскрикивал: «Эгой!» и начинал другую:

А то еще есть песня
О старом казаке,
Что плыл куда-то ночью
На лодке по реке.

Будил он рыб и воду
Ударами весла...
А в сонном небе ночи
Над ним луна плыла.

И нежно там сияли
Красавиц-звезд огни,
И знали все, что будет
Со старяком, они.

Майя слушала и думала о певце, что, пожалуй, никто другой не знает столько таких песен, сколько он! Какие хорошие, грустные песни, и как это верно спето про звезды, которые знают все, что может быть завтра и дальше вперед! Хорошо слушать такие новые песни... и Майя незаметно для себя по ветвям деревьев добралась до опушки леса.

А было вот что: в лодку
Русалка села вдруг
И — вырвала со смехом
Весло из старых рук... —

Продолжал певец и тут остановился, задумчиво глядя в даль и тихо насвистывая мелодию своей песни. — Эгой!..

Была она красива,
Нага и молода,
С волос ее струилась
Алмазами вода.

Смеясь, она играла
Казацкой бородой
И говорила: «Хочешь
Любить меня, седой?»

Но, впрочем, где тебе уж.
Вот ты и дряхл, и стар,
Ты не погасишь лаской
Кипучей страсти жар!

Ты не обнимешь крепко,
Ты слишком слаб, казак!
А ну-ка, поцелуй-ка,
Как я!.. вот так! вот так!..»

Она его схватила
И стала целовать,
И стала в уши песни
Тихонько напевать.

Майя слушала и думала о том, как это красиво было: в лучах луны тело русалки казалось голубым и прозрачным, его осыпали тяжелыми прядями густые волосы, и оно сверкало между них ослепительно ярко. Она извивалась змеей на широкой груди казака, серебряные волосы его бороды мешались с зелеными волосами русалки, и она ласково и нежно пела, и ее песня, наверное, была мягка, как осенний шум волн в камышах, и глаза ее горели так ярко, как звезды, которые, сияя из

густосинего бархата неба, улыбались и обливали светом своих тонких лучей реку и лодку, и тех, что, сидя в ней, целовали друг друга... Это было красиво!.. И еще была музыка... музыка шопота волн и звука поцелуев, шелеста деревьев на берегах, тонувших в мгле мягкой и волнистой, и тихих песен русалки... Все это сливалось и звучало тихим и кротким гимном, которому имя — счастье жить!

А певец продолжает:

Остатки силы юной
Проснулись в казаке...
«Могу!..» — пронесся шопот
По дремлющей реке.

Он берегов уснувших
Во мгле не разбудил...
Как тучка в небе ясном,
Он, тихо тая, плыл.

И замер где-то грустно...
Мир божий сладко спал,
И больше ничего уж
В ту ночь он не слышал.

Как раньше, катит волны
Красавица-река...
Но среди живых уж нету
Бедняги казака!

Теперь русалки око
Не соблазнит его...
Зарыт бедняк глубоко
И... больше ничего!

Вот как кончилась песнь чабана! Майя не ожидала такого конца, и ей стало грустно. Это было так красиво, и кончилось так страшно! И зачем это «больше ничего». Было так много красивого!.. Она смотрела на певца — теперь он был близко от нее — и видела, что и ему грустно. Он низко наклонил голову и тихо покачивал ею, глядя на землю. Ей захотелось поговорить с ним, и, не думая о том, что из этого выйдет, она крикнула:

— Здравствуй! А скажи мне, почему у твоих веселых песен такие грустные концы?

Чабан встал с земли, подошел к самой опушке леса и, найдя ее в ветвях своими черными глазами, улыбнулся, кивнул ей головой и отвечал:

— Почему? Да потому, что все песни имеют концы! А до сей поры я слышал, ничто не кончено так, как начато. Это ты распеваешь в лесу? Вот ты какая! Я так и думал, что ты маленькая, гибкая и тонкая; у тебя и голос такой же, как сама ты.

Они замолчали и стали рассматривать друг друга. Он оперся о палку локтем одной руки и, положив на ее ладонь голову, смотрел вверх на ветки, из которых,

улыбаясь, смотрело на него ее маленькое белое личико с ясными карими глазами. И хорошо же оно было в рамке майской зелени!

— Ты славно поешь! — сказала Майя, вдоволь насмотревшись на его черные, как омут, глаза и на смуглые, золотым пушком покрытые щеки.

— Пою, как умею, не лучше и не хуже этого, девушка! Сойди вниз, я посмотрю на тебя поближе. Ты ведь красавица, знаешь ли?

Ну, это-то она знала как нельзя более твердо. Когда по ночам засыпали ручьи, что текли по лесу, она частенько-таки любовалась в них своей рожницей и всем остальным. Все красавицы знают, что они такое, и почти всегда раньше времени это знают; можно думать, что коли бы этого не было, так и еще кое-чего не было бы!

Майя хотела сойти, но вспомнила о том, что говорили ей крот и мать.

— А ты злой? — спросила она.

— Я-то? Не знаю... Я — чабан...

— Это я знаю! — торопливо сказала Майя. — Значит, ты добрый.

— Не знаю! — весело тряхнул кудрями чабан.

— Ну, так я не приду к тебе, потому что ты наверно злой! Есть только злые и добрые, а больше никаких нет, и ты меня обманываешь.

— Э, да ты глупенькая какая! — крикнул чабан. — Как хочешь, не придешь — не приходи, а придешь — я тебя поцелую.

— Не хочу я, чтобы ты меня поцеловал!

— Ну, это ты врешь! Каждая девушка хочет, чтоб ее целовали; разве я не знаю, ты думаешь?

— А я не хочу!

— Теперь — может быть; а через час или завтра и ты захочешь. Всю жизнь по деревьям лазить не станешь ведь? Ну, вот, то-то же!

Майя задумалась. Может быть, лучше — поцеловать его сейчас, если это так неизбежно? Это, должно быть, очень хорошо поцеловать его вон в эту ямочку на щеке, что сделалась от улыбки, и в ту — на другой щеке.

— Ну хорошо, я сойду! — засмеялась она и спрыгнула с веток ему на руки.

— Какая ты легонькая! — глядя ей в очи, сказал он и поцеловал ее в губы.

Ах, как это хорошо!.. Сладкий, как сок ландыша, и горячий, как летний солнечный луч, поцелуй чудной новой кровью потек по жилам к сердцу, и оно затрепетало от боли сильно и сладко.

Она и сама поцеловала его, а он ей ответил, и еще, и еще, и бесконечно много целовались они.

Уж наступил вечер. Заходило солнце; лес темнел, и издали по степи поползли тени, посланники ночи. Тогда Майя вспо-

мнила, что нужно идти домой. Ей не хотелось этого, — с чабаном было так хорошо!..

— Ты уж уходишь? — спросил ее чабан. — Скоро! Но ты приходи завтра; я тебе что-то скажу, как придешь.

— Я приду; мне с тобой так хорошо; но ты скажи то, что хочешь, сейчас, чтоб мне не думать об этом ночью, — сказала Майя.

— А ты разве не станешь думать, когда узнаешь, что это?

— Что же думать о том, что знаешь?

— Нет, уж, иди. До завтра!

— До завтра!

Они поцеловались, и Майя пошла в свой лес, а чабан пел ей вслед одну из своих песен, только на этот раз тихую и нежную, как летний вечер, а не одну из старых, — сильных и смелых, как ветер степной.

Майя пришла домой и рассказала все, что случилось с ней в этот день. Эге, за всю свою жизнь до этой поры она не видала своей матери и сестер такими испуганными и огорченными, как они были испуганы и огорчены, когда выслушали ее. Мать то сердилась, то плакала и все говорила: «Что ты наделала, глупая! Что?..» Сестры молчали, и лес молчал, молчал задумчиво и неодобрительно. Майя чувствовала это, и ей было страшно чего-то.

— Дочка моя! — плакала мать. — Ты погубила себя!

Сестры убито молчали и тоже плакали.

— Почему же, мама? Ведь в том, что мы целовались, нет ничего страшного, это только приятно. И потом, он говорит, что целоваться все равно нужно: не нынче — завтра, это неизбежно!

— Дочка моя! Ведь он человек!

Но Майя не понимала, как глубока та пропасть, которую скрывает это слово, и говорила свое, что целоваться приятно, что чабан тоже хорош, что то, что вышло, неизбежно должно было выйти. И та, и другая были правы, и чем больше спорили, тем правее считали себя, и кончился спор, как всегда, — они почувствовали себя обиженными и рассерженными друг на друга.

— Ты не уйдешь больше из дома дальше вот этого дуба! — сказала мать.

Этот дуб был в трех шагах от маленького теремка Майи; это ее еще сильнее обидело. Она пошла к нему и села под густой темнозеленый навес его ветвей. И осталась одна, потому что мать и сестры ушли во дворец, взволнованно шепча о чем-то между собой. Все это утомило ее, и она уснула крепко, — в сущности, ведь ее совесть была чиста, как только что павшая с неба росинка, — уснула и видела степь, всю залитую горячим солнцем, и чабана; он пел песни, улыбался и цело-

вал ее; у него ярко чскирились глаза, и зубы блестили, как жемчуг, из-под пушистых и черных усов; ей было так славно! — И когда она проснулась, ей — эх, ты как! — захотелось побежать туда, в степь; но она вспомнила, что это запретили маленькой девочке Майе, и ей стало обидно и грустно. Может быть, было бы лучше не говорить о чабана дома!.. но она не умела не говорить о том, что в ней или с ней было... Вот идет мать. Ее старые седые волосы чешет ветер, и мотыльки, летая венцом вокруг ее головы, следят, как бы не попала пылинка на ее старое лицо, которое теперь так убито и строго.

— Я пойду в степь, мама! — не то попросила, не то решила Майя.

— Ты не пойдешь, девочка! Ты погибнешь, если пойдешь! — подойдя к ней, заговорила царица-мать, и долго говорила она о том, что лучше не знать того, что приносит минуты радости и годы страданий, и о том, что только тогда душа свободна, когда она ничего не любит; о том, что человек слишком любит себя, чтоб надолго полюбить другого, и еще о многом, что было и мудро и, может быть, верно, но что совсем не было так приятно, как поцелун чабана, и что не могло даже быть похоже на них. Майя слушала и очень внимательно, и долго, вплоть до той поры, пока со степи не пронеслось и не прокатилось по лесу звонкое «Эгой!» и

вслед за ним не поплыли славные и стройные звуки песни чабана:

Терять минуты не годится
Тому, кто хочет много жить,
Кто хочет жизнью насладиться!
Тому, кто хочет счастлив быть,
Терять минуты не годится.

О, иди! Я тебя страстно жду!
Поскорей!.. Для тебя я в груди
Много песен веселых найду...
О, иди! Поскорее иди!..

Майя слушала эту песню, и сердце повторяло ее. Голос матери звучал, как жужжанье пчелы, звуки песни — как клекот орла.

— Нет, я пойду! — сказала Майя, и лес зашумел в ответ на громкий крик горя царицы-матери:

— Дочка, не ходи!

— Ведь это жестоко, мама! Я хочу — ты не хочешь; почему же нужно, чтоб было так, как хочешь ты? Пойми, что хочу я! Я хочу!

— Дочка моя!.. Я знаю, что будет из этого!.. Не ходи!..

— А я не знаю, и пойду!

— Так тогда ты больше не будешь моей дочерью! — вскричала царица, и лес не раз повторил ее крик.

Бедные матери почему-то всегда забывают то время, когда они сами были только дочерьми, и отсюда выходит много лишнего крика; но это ничуть не мешает тому, чтоб все шло своим чередом.

Майя испугалась и, когда увидела, что мать уходит от нее, испугалась еще больше. А со степи неслось:

О, иди! Счастьем жизнь так бедна!..
Торопись же! Она так кратка!
Нужно пить чашу жизни до дна
Поскорей, — не остыла пока!..

Майя посмотрела кругом... Корявые сучья дубов и белые, гибкие ветви берез переплелись между собой, тесно переплелись они, и никогда сквозь густую сеть их не проникало в лес так мало солнца, как сегодня! Воздух был влажен и душен; пахло не столько цветами и свежей майской зеленью, сколько перегнившим листом и еще чем-то таким же тяжелым... А там, в степи, просторно и ярко! И от туда неслась песнь:

О, иди!.. Хочешь жить, будь смелей!
Поскорей!.. Страх и жалость отбрось.
Только сердце свое ты жалеи!
Только с ним не пытайся жить врозь!

Майе стало казаться, что лес еще гуще переплел свои ветви и хочет помешать ей

уйти, и вершины деревьев, кланяясь ей, шепчут: «Не уходи отсюда! Там ждет тебя горе и еще что-то!» Она чувствовала, что вот они повалятся ей на дорогу... но все-таки хотела и решила уйти. У нее прямо из сердца полилась песня вызова и желания:

Звук этих чарующих песен
Отраду мне в грудь тихо льет...
О лес! Почему ты стал тесен?
Мне страшно!.. Мне больше дает
Звук этих чарующих песен!..
Мой лес! В тебе солнца так мало,
В тебе не умеют так петь!..
Мне скучно, я жить здесь устала!
Угрюма ветвей твоих сеть...
И солнца в ней мало, так мало!..
Я воли хочу, хочу степи!
Мне грудь тяжело давит твой мрак!
Прочь эти зеленые цепи!..
Пусти!.. а не то ты — мой враг!
Я воли хочу, солнца, степи!

— Майя! ! — вскричали сестры и встали все рядом у нее на дороге.

— Дочка! Ты ведь разорвешь сердце мне!.. — простирая к ней руки, горько крикнула царица-мать.

Майя остановилась. Ей холодно и страшно стало, как никогда не бывало прежде. А со степи несло:

Иди!.. Мое сердце устало
Тебя, моя девочка, ждать!
Хоть счастья в жизни и мало,
Но все я могу его дать!..

Майя и не посмотрела на мать, и на сестер не посмотрела, бросилась вперед, толкнув их, и ушла, а когда они опомнились, ее уже не было. Глухо гудел лес, и у корней могучего дуба лежала старая царица в короне серебряно-седых волос, широко раскинув руки и не дыша.

— Вот я! — крикнула Майя, подбегая к чабану. — Вот я! Вырвали меня из леса твои песни, и из моего сердца вырвали они все, что в нем было до той поры, пока я не услышала их, вырвали и породили там что-то новое и сильное, и вот я бросила и лес, и мать, и все... и пришла к тебе!

— Ну, что ж! Вот и славно!.. Теперь ты свободна, и смотри-ка: вот она, степь, нет у ней края, и вся она твоя! И я твой, коли это нужно, а ты — моя! А то — так нет здесь ни тебя, ни меня, а есть мы, и ты — это я! Видишь, как славно! Только в степи и хорошо, потому что в ней свобода! Мы будем жить, как птицы; я буду петь тебе свои песни, а ты мне — свои, и обоим нам будет так хорошо, как никому никогда не бывало! И забудь ты то, что осталось там, сзади тебя, и будь моей милой!

— Да! — вздохнула Майя, — я буду твоей милой. Ты так хорошо поешь! А то, что в лесу, я уж забыла. Мне не жалко леса... и мать... и сестер... только вот там осталась моя постелька из ландышей, — на чем спать стану я?!

— Э, о чем она! На моих руках будешь спать ты и на грудь ко мне положишь свою головку. Разве это дурно? Вот так, а я буду петь тебе тихо-тихо и баюкать тебя своими песнями. Я много знаю песен.

Он взял ее на руки, и она положила головку к нему на смуглую сильную грудь... Он запел, и солнце смотрело на них с яркоголубого неба; там не плавали маленькие пуховые облака, оно было чисто, как душа девочки феи, и только невидимые глазом жаворонки вплетали звуки своих песен в солнечные лучи... и над степью, в безбрежной равнине небес, плавала дивная, громкая музыка. Чабан сел в тень от одинокой березы, что, любя свободу, выдвинулась из леса далеко в степь и стояла в ней гордо и смело, тихо качая ветвями под ласками ветра, летевшего со стороны моря по степи... Он, глядя в глаза Майи, играл ее покрывалом из крыльев мотыльков, накинутым на ее плечи, и нежно пел ей:

О, цветок мой, бархат скинь
С утомленных зноем плеч.

Неба свод так чист и синь,
Так прохладна эта тень!
Славно в ней на отдых лечь
В этот жаркий день!

Тонкими серебряными колокольчиками
звенел его голос:

Ветер нежен и душист,
Он несет со всех сторон
Тихий шелест, стрекот, свист...
О, как сладко мы уснем!
Сон наш будет тих и чист
Этим чудным днем!..

Майя засыпала под звуки этой песни, засыпала сладким сном счастья и сквозь дымку сна видела, что лучи из глаз чабана прямо в сердце льются ей. Он ее жег поцелуями, и она, не скупясь, отвечала ему. Это было так приятно! И потом она куда-то полетела быстрой птицей, и навстречу ей небо улыбнулось страстной, знойной улыбкой.

А когда она очнулась, уже ночь плыла над степью... Как прекрасны и могучи вы, свобода и любовь! И Майя спела одну старую соловьиную песню, в которой воспевалась любовь, — от себя вставив в нее хвалу свободе. Но вино не смешиваешь с огнем, и огонь не заменишь вином!.. Это вышла плохая песня; хвала свободе звучала в ней смело и громко, но

эти смелые и громкие звуки шли в разлад с тихой и нежной мелодией хвалы любви. Но чабан целовал ее, она отвечала ему, и никто, кроме птиц, не заметил того, что не ладится песня свободы с песней любви.

Так вот и зажили они. Пели и целовались, чуть только начинается день, и целовались и пели, когда ночь покрывала собою степь, и ходили по степи туда и сюда, свободные и веселые, как птицы. Так вот и жили они. Иногда вечером, когда солнце угасало и тонкой мглой окутывалась степь, эта мгла ложилась и на душу Майи, чуть туманя ясный блеск ее очей; но чабан целовал ее тогда чаще и крепче, и, пока он ее целовал, из-за леса являлась луна, обливала всю степь голубым серебром, и мгла таяла и в степи, и в душе маленькой феи. Хорошо им жилось!..

Но однажды гроза собралась там, вдали: незаметно она собралась и сначала явилась маленьким темносизым облачком; она торопливо пробежала над степью, облитой горячим сиянием солнца, и, когда оно бежало, от него ложились тени, они касались степи темной, виноватой улыбкой, точно облако хотело сказать, что оно не по своей воле закрывает солнце и пугает птиц, а уж так ему повелел ветер. Пробежало это облако, а за ним немедленно поплыли другие облака, побольше и по-

меньше его, — они плыли и хмуро смотрели на степь и на Майю с чабаном, что сидели там; а потом они стали собираться в темносиние мрачные стаи и закрыли собою все небо.

Ветер страшным порывом промчался над степью в сторону моря, он мчался и выл что-то грозно и дико и гнал перед собой стаю сухих листьев; ковыль робко клонился к земле. Майя испуганно кинулась на грудь чабана, а тот громко крикнул:

— Эгой!

И спросил ее, крепко целуя в щеки:

— Чего ты боишься? Это просто гроза собралась. Ты посмотришь, как это будет весело! Нет ничего в свете сильнее и красивей грозы. Эх — как она пролетит над степью, сколько золотых стрелок бросит в землю, сколько грозных песен прогудит ей!.. Знаешь ты, почему бывает гроза? Эх ты! не знаешь!.. Это потому, видишь ли, что небо смотрит, смотрит на землю, а потом рассердится на нее за то, что она забывает о нем. Оно и жалеет ее и, может быть, любит немного.. И вот, когда оно рассердится, то соберет все тучи, какие у него есть, и, вооружив их молниями, с громом пустит их лететь над землей — смотри, дескать, захочу — и вся ты в пыль разлетишься!.. Вот что такое гроза. Теперь ты знаешь?

— Я боюсь теперь! — вздохнула Майя.—

Уйдем туда! — и она показала в сторону, где стоял лес.

— От грозы-то уйти! Вот уж сказала! Коли ты не хочешь ее, иди к ней навстречу, — так она скорее минует тебя, а избежать ее — все равно не избежишь! Да и бояться ее не нужно. Гроза!! Эге! Что ж такое? Будь тверда, вот и все!

Но все, что он говорил, нимало не утешало ее; она боязливо дрожала, обняв его крепко, и не хотела посмотреть туда — в даль, теперь уже матово-черную.

Вот на землю начали падать холодные, крупные капли, и там, куда падали капли, вздымался маленький пыльный дымок. Потом прилетело из дали глухое ворчанье, и даль эта вспыхнула синим огнем. И вдруг тучи грянули в небе и с страшным громовым ударом порвались на клочья; в прорыве их, мрак освещая, блеснула раскаленная стрела молнии, ринулась на землю и, не долетев, погасла.

По степи пронесся ропот, широкой и мрачной волной он неся, и лес отвечал ему эхом. И хлынул дождь — вот он!..

Стрелы молнии рвали тучи, но они опять сливались и неслись над степью, мрачной, наводящей ужас стаей. И порой, с ударом грома, что-то круглое, как солнце, ослепляя синим светом, с неба падало на землю; и блестели грозно тучи и казались взгляду ратью страшных, черных привидений, в бархат с золотом оде-

тых, потрясающих мечами, что покованы из золота и калеными из горна были прямо в руки взяты. Привиденья рокотали и гремели, угрожая замолчавшей в страхе степи, и волною непрерывной и громадной, с море ростом, их проклятья и угрозы неустанно в даль летели и звучали так, как горы вдруг бы, вдребезги разбившись, пали с грохотом на землю и, во прах ее разрушив, вместе с нею полетели в бесконечное пространство, камень, камень раздробляя, — и звучали так, как небо зазвучало б, изломавшись на куски и с выси синей быстро падая на землю... Вот как тучи те звучали!..

Ужас сердце чует в этот краткий миг, который делит гул громовый на удары; а они гремят, и тучи разрываются, бросая золотые стрелы молний из рядов своих на землю. Гром гремит, пылают тучи, и огонь их синь и страшен, и дрожит пустыня неба, и земля трясется робко... И на свете нет явлений больше сильных, больше страшных, чем гроза в степи широкой и на море бури бой!..

Степь молчала робко, странно, и над нею все катился дикий ропот. И когда чернели тучи, в их огне сверкали сталью нитки тонкие дождя, он струился непрерывно, и звучал он монотонно плачем горя за кого-то.

Твердо, как скала, чабан стоял в степи, подставив грудь дождю и порывам ветра; в молнии, прядая по небу, точно не смели

пасть на него, точно боялись они разлететься огненной пылью, ударившись в смуглую грудь чабана... А он с улыбкой смотрел на тучи, любуясь их мрачной красотой и силой... и в его черных очах горел огонь зависти им, огонь такой же яркий, как сами молнии. Он забыл и о Майе, что лежала на земле, охватив своими тонкими ручками его ноги и крепко прижав к нему свою маленькую головку, — и о себе, и о степи... Ему самому хотелось лететь с тучами и петь громкие песни с ними...

Гроза уже не гудела без отдыха, как раньше, и на минутку и две, и три оставалась и, точно присматриваясь к смелому человеку, одному перед нею, глухо ворчала, должно быть, немножко не понимая, зачем он тут стоит и чего дожидается в пустынной степи под дождем... А потом, помолчав немного, снова встряхивала тучами и играла молниями, градом сыпля их на землю, а тонкие нити дождя все опускались из нее вниз и все блестели в огне молний, и казались сетью из тонких стальных проволок, которую гроза кидала на землю, чтоб та запуталась в ней, и тогда гроза унесла бы ее с собой в страну, где живет ночь и она сама, где всегда темно, и где у грозы уже много натаскано таких, как земля, шаров, которыми она играет, когда ей скучно и нельзя уйти из дому.

А в степи было холодно, темно и мрачно. Когда молнии летели над нею, то казалось, что она тяжело и утомленно вздохнула, и, поднятая вздохом, ее широкая грудь так и замерла в страхе; а когда молнии падали на нее, она со страхом опускалась, ее давила тьма, и над ней монотонно плакал дождь.

Чабан стоял и пел, и в груди его все горело это могучее, смелое, что позволяло ему одиноко стоять грудью к грозе и не бояться; он все пел, и раз, когда все тучи сразу вспыхнули ослепительным голубым огнем, он невольно опустил глаза к земле и увидел у ног своих Майю, о которой забыл. Она лежала вся мокрая на мокрой земле, и ее маленькое личико было синим и мертвым, глазки закрыты и плотно сжатые розовые губки были бледны.

— Умерла! — вскричал он удивленно. — От чего же?

И наклонился над ней и, взяв ее на руки, прижал к своей груди. Она была так жалка, и в углах ее глаз замерли две слезинки; маленькая, беспомощная, она откинула головку назад, и ручки ее повисли так жалко и слабо.

— Умерла ты, Майя? — тихо спросил он ее и почувствовал, как что-то режет ему сердце острой, невыносимой болью. Он никогда не испытывал такой боли, даже тогда, как, раз упав, сломал себе кость руки, — и эта боль была жалость.

Он даже застонал страшным, рыдающим стоном... и в ответ ему дико и насмешливо захохотал гром прямо над его головой.

Чабан вздрогнул и согнулся, — посмотрел кругом, куда бы спрятать маленькую девочку Майю от грозы, и в первый раз пожалел о том, что не имеет шалаша. И его жалость к девочке перешла в страх за нее. Вот он поднял на руках Майю высоко над своей головой, и с тоской, рвавшей ему сердце так, что он чувствовал, как из этого сердца брызжет внутри его груди горячая кровь, — с тоской и со страхом крикнул изо всей силы:

— Пощади!

Гром хохотал, тучи мчались, дождь все падал и плакал, степь вздрагивала, а там, вдали, глухо и скорбно рыдал лес. Но в стороне, откуда мчались тучи, мрак становился бледней, и порой там сверкали ласковые голубые улыбки неба.

Чабан стоял и держал высоко над головой маленькую фею, а сам тоскливо смотрел в высь, где мчались тучи, которым совсем никакого дела не было ни до чабана, ни до Майи. Они пришли потому, что пришли, и уходят потому, что настала пора уйти. Они убили бы его, если б убили, но этого не случилось, — и им нет ровно никакого дела до чабана и Майи; они, может быть, хотят чего-то; но уж

не так мало, как чабан и его фея! Они проносятся над землей и веселятся по-своему.

Вот вдали блеснуло солнце с непокрытого тучами неба; там была уже широкая ясноголубая лента.

А чабан стоял и все держал Майю, подымая ее к небу и в тоске ожидая, скоро ли над его головой блеснет солнце: он даже позабыл и о том, что можно бы пойти к нему навстречу.

Вот оно и блеснуло... и на побитых дождем стеблях ковыля засияли в его лучах алмазы и яхонты капель; и попадали эти лучи на личико Майи и ее грудь... А там, куда умчались тучи, еще гулял гром.

Тогда фея вздохнула и тихо простонала:
— О мама! мама!..

А чабан крепко прижал ее к груди, и ему стало так радостно.

— Так ты жива? Эх, как это хорошо! А я думал, что гром-то убил тебя!

— Я в лес хочу! Здесь мне страшно! — тихо сказала Майя.

— Да ведь она уж ушла, гроза-то! — вскричал чабан.

— Она опять вернется назад! Неси меня в лес!

— Но как же снесу тебя? Я не пойду туда! Чего там? Деревья и все.

— Нет, скорей отнеси меня! — настаивала фея.

— А я останусь один здесь? — спросил ее чабан и задумался... Тут есть что-то нехорошее... Что же в том, что один? Он всегда был один. И степь так близка и родна ему. Но почему же ему не хочется отнести ее в лес?.. А отнести-то очень не хотелось!

— Знаешь, — сказал он, — мне кажется, что коли я отнесу тебя туда, так это будет похоже на то, как бы я разрезал себя на две половинки и они разошлись в разные стороны, — одна — в степь, другая — в лес, вот что! Пожалуй, лучше этого не делать. А? что ты скажешь?

— Но я боюсь здесь. Я хочу в лес!.. Мне тоже будет скучно без тебя... ты думаешь — не будет? Ах, нет! очень будет. Но я хочу в лес! Я боюсь здесь!.. какая гроза!!

— Ну, так как же мы будем? Тебе будет нехорошо без меня, а мне без тебя. Остайся-ка со мной! Что тебе гроза? Как придет она, я запою песню и буду петь до той поры, пока она будет метаться по степи, — вот и все!

— Ах, разве ты можешь с ней сладить? Она схватит тебя и со мной и может кинуть так далеко, что мы долетим до моря!

— До моря — это не далеко!.. — задумчиво говорил чабан. — Но как же я отнесу тебя, когда мне этого так не хочется!.. Э?! И потом, — здесь я дал

тебе счастье, и ты мне, а в лесу... Ну-ка, скажи, что ты видела там?

Тут и Майя задумалась и, немножко помолчав, печально сказала:

— Это так, счастье здесь! но... ведь его так мало! Это я тебе тогда еще, в первый раз хотела сказать. Оно, пожалуй, только ожидание: вот что твое счастье!..

Им стало грустно после этого; а над ними небо, освеженное грозой, тихо и ласково улыбалось. Чабан посмотрел на него и вдаль кругом себя, и нигде не нашел ответа на свои думы.

— Ну, пойдем! Я отнесу тебя до опушки.

Он понес ее молча и смотрел не в глазки ее, как раньше, а в темную, смоченную дождем землю, и она, сидя у него на руках, молчала. У них обоих было что-то новое, чего они не понимали, но что мешало им так весело целоваться, как раньше они целовались.

— Прощай!.. Когда ты выйдешь из леса ко мне? — спросил он, опуская ее с рук на землю у опушки леса под ветви, осыпанные, точно драгоценными камнями, каплями дождя, горевшими на солнце и молчаливо отдохавшими от бури.

— Приду? Не знаю, когда... Когда захочу, — не раньше! — ответила Майя.

— Ну, так поцелуй на прощанье.

Она крепко, крепко обняла его и поцеловала — горьким поцелуем сомнения, а потом пошла в лес, не оглянувшись на него. На нее падали с потревоженных веток холодные крупные капли, и от них ей было холодно. Лес молчал угрюмо и сосредоточенно; тропинка сделалась почему-то более густой, но менее красивой, чем прежде, и цветы были не так красивы, и меньше было их... и все было странно, не так, как прежде, точно у Майи теперь были новые глаза.

А как просторно там, в степи, и как там ярко! Он, наверное, сидит под ветвями осокоря и думает, глядя вдаль, положив на руки голову. Часто он так сидит и много думает. Часто, когда она засыпала у него на руках, а он переставал баюкать ее песней, она сквозь дрему наблюдала за ним, и, хотя ей казалось, что его сердце с нею, все-таки хорошо было смотреть в его горячие очи!.. Она шла. Ветви деревьев осторожно дотрагивались до ее плеч и рук и точно хотели сказать ей шопотом что-то; но она не чувствовала ничего, кроме того, что печаль наполняла ей сердце...

Вот на дороге у ней встала царственно-пышная лилия, и, отягченная дождем, ее серебряно-бархатная пышная чашечка почему-то грустно качается. И эта лилия так бела, чиста, свежа! И, кажется, так гордится всем этим.

Майя наступила на нее ножкой; стебель жалобно хрупнул... и вот она, эта чистая лилия, лежит в грязи, вся измятая.

Майя посмотрела на нее, и ей стало за что-то стыдно и чего-то жалко.

— Я сделала сейчас так же, как эта Страшная Судьба, о которой рассказывал мне в степи он! А вот дворец матери!

Он стоял таким же красивым, как раньше, но в нем было что-то грустное.

— Мама! !. — рыдая, вскричала Майя и смотрела на ступени перед дверями дворца.

Как и раньше, они были обвиты темной зеленью плюща; ярко блестели белые душистые жасмины и желтые азалии на этой бархатной зелени и дышали густым ароматом в открытые окна дворца. В одном из них, из-за цветов, смотрели вниз на Майю ее сестры, и их лица были строги и печальны, хотя и казались тоже чашками белых тюльпанов.

— Мама? !. — спросила сквозь слезы Майя, не входя на ступени.

Лес повторил вслед за нею угрюмо: «Мама! ?» Сестры качнули печально и строго головками; деревья тоже качнули вершинами, и с их ветвей попадали частые, крупные слезы.

— Ты убила ее! — сказала старшая сестра.

— Ты не сестра нам больше! — добавили две остальные.

Майя посмотрела на них с холодом в сердце... Мать умерла, значит?... Умерла?!.

Маленькая фея наклонила голову на грудь, и ей показалось, что маленькая змейка ужалила ее в сердце... «Но ведь мать-то старушка уж была, и умерла ли она оттого, что я не послушалась ее, или оттого, что пришло время смерти, — едва ли знают это сестры!..» Зачем же они говорят так строго и теперь вот смеются над нею там, вверху, меж цветов? Или им оттого, что они сказали ей, стало легче? Что она им сделала дурного? Ничего? Ну, и пусть их остаются себе! Ей их не жалко, потому что они обидели ее, и лес ей больше не нравится.

Майя пошла по лесу к своему любимому буку и забралась в его густую пахучую листву, омытую дождем. Она смотрела в небо; там уже вспыхивали звезды, они были еще малы и тусклы, мигали так грустно; небо было печально; а лес, казалось ей, молчал укоризненно, сухо, сердито... Она была одна и заплакала.

Слезки из ее глаз падают на листок бука, а с него — на другой, третий, потом на землю.. И, когда она проснулась на другое утро, под буком из травы выглядывали аютины глазки, а со степи над лесом плыла песня:

Э! Э!.. Почему тебя нет?
Давно уже солнце блестит,
Но нынче я им не согрет,
И сердце в груди моей спит!
И что-то в нем петь не дает...
Эгой!.. Как тот жалок, кто ждет!
Э! Э!.. Кабы я да умел
По ясному небу летать,
Я много бы огненных стрел
У грома старался отнять
И той, что вчера целовал,
Из них бы корону сковал!..

«Вот он уже и поет! Как грустно звучит его голос сегодня! Отвечу ему...» — подумала она и запела:

Весь покоем и мглой
Лес угрюмый объят...
Лишь деревья листвою
Тихо, нежно шумят.
Вот в просвете меж туч
Пышных, темных ветвей
Солнце бросило луч
В скрытый тенью ручей.
Оживлен, освещен
Этим ярким лучом,
Загорелся весь он
Разноцветным огнем, —
Точно гном-чародей
Щедрой дланью своей
Бросил в этот ручей
Драгоценных камней!..

— Эгой!! — радостно неслоь со степи.

Лентами песни твоей
Сердце себе я украшу!
Солнце сияет светлей,
Слушая песенки наши!
Эх, как я жадно ловлю
Трель твоих маленьких песен!
Степи простор стал мне тесен,
Вот как тебя я люблю!

А она продолжала:

Я дыханьем цветов
Ароматным дышу
И тебя я спешу
Целовать!
«Понеси ты ему
Сладкий наш аромат!»
Мне цветы говорят.
Я иду...

И в две минуты она была уже у опушки.

Он кинулся к ней навстречу, и ей показалось, что от его поцелуев все небо вспыхнуло мягким яркорозовым огнем. Сладко это было!..

И снова зажили они. День за днем жизнь бежала, и когда они привыкли друг к другу, им стало скучно. Чабану хотелось все ходить то туда, то сюда, а у Майи ножки болели от этой ходьбы.

И между ними легла однажды тень, незаметно для них. Всякий знает, как бывает это; что ж говорить много!

Раз они сидели рядом друг с другом и молчали. День был такой яркий, молодой, сильный. Степной богатырь был этот день. Им было грустно. Майя посмотрела в очи чабана и увидела, что темны они, эти очи, и черные брови над ними сурово сдвинулись.

— Что ж ты не скажешь мне ничего? — спросила она тихо и тихо стала играть его кудрями.

— А что бы сказать тебе? — двинул он плечами. — Сказал бы я тебе, что меня вон туда тянет, где так мглисто и мягко, вон в ту даль, где видно, что лучи солнца прямо на землю упали такими широкими лентами... Вот это я сказал бы тебе, да ведь ты не пойдешь со мной так далеко: ножки заболят твои! Ну, а без тебя как же?

Он замолчал, и Майя молчала, печально понутив головку. А вот степь так разговаривала тысячью голосов сразу.

— Ну, и еще мог бы тебе два-три слова сказать, коли бы ты не обиделась на меня за них.

Она ласково посмотрела на него.

— Как не видал я тебя, так и тоски во мне не было. В ту пору свободен я был, и не хотел ничего, и не жалко мне было никого; славно было! Жил да пел, да из

конца в конец рыскал по степи, а по ночам смотрел в небо и думал, кому и на что нужно, чтоб в нем столько звезд горело? или о том, что там, выше неба, есть? И хотелось мне тогда многого... И знать я хотел, и делать все, — а теперь вот, как ты со мной, уж и нельзя жить мне так, как я хотел бы и как раньше жил, потому что уйти одному — обидеть тебя, а я тебя люблю и жалею; вон ты какая красивая и молоденькая! А уж коли любишь и жалеешь, или хочешь и боишься чего-нибудь, так и не свободен!.. Вот что я сказал тебе! И мне больно за то, что все это правда...

И чабан замолчал, глядя в даль и печально кивая головою чему-то.

В душе Майи стало холодно, когда она услышала его речь, и из глаз ее тихо закапали слезы.

— Ты говоришь — это правда, и я скажу то же. Как жила я в лесу, плохо разве было в нем для меня? Вот уже нет!.. И это ведь ты, коли не забыл, выманил меня оттуда своими песнями! Я пошла, потому что думала — здесь с тобой лучше. Я пошла — и потеряла мать, сестер, мой дом, все!.. За что отдала я их, скажи-ка? Не за те ли минутки, когда поцелуи становятся так жарки, что даже больно?! Дорого заплачено, коли так!.. А все, что я узнала от тебя, лучше бы и не знать, потому что обо всем этом думается!.. Ты

говорил мне о судьбе и о смерти... ну что в них хорошего? Кабы я не знала, что они есть, мне было бы веселее, оттого что, если умеешь думать, совсем не лучше жить!.. Вот я и сказала тебе кое-что и, может, больше бы сказала, кабы могла вынуть из груди сердце и поднести его на руке к твоим очам: посмотрел бы ты, что в нем есть! Умен ты, а вот скажи — зачем все это у нас вышло?

Он сам думал о том же... А зачем, в самом деле? Столько ли они оба получили друг от друга, сколько отдали друг другу?

На первый вопрос ни сам чабан, ни степь, ни небо, которые он грустно осматривал, — не отвечали, а на второй уже было отвечено и им, и Майей.

— Эх, как хороши, покойны и сильны эти двое — бескрайняя степь и бездонное небо! Нет, моя горленка, мудреца, который сказал бы — зачем; нет такого, я думаю; а как посмотреть попристальнее, так, может, и еще многого чего нет!.. Винаваты ли мы друг перед другом? Нет, я думаю. Ляг же ко мне на грудь, а я обниму и поцелую тебя!

Майя посмотрела на него. Хорош он был раньше, сильный и смелый, с ясным челом и огненными глазами, хорош и теперь — исхудалый немного, задумчивый. И глубокий, как небо, стал взгляд у него. Она обняла

его и, положив ему головку на грудь, сказала:

— Спой мне одну твою прежнюю песенку! Давно уж не пел ты.

— Не поется теперь мне; не поется, голубка! Видно, уж спеты все мои песни!.. Знаешь что? песни-то ведь были не мои, чужие все песни, — все их поют, слышал я, и вот сам запел... А они, может быть, только так... и, может быть, в них есть вредное для сердец.

Говорил он и грустно качал головой, а она плакала, потому что что же еще оставалось ей?..

Так и зажили они. Так зажили и, глядя один на другого, становились все больше лишними, все больше мешали друг другу и больше понимали и видели... И все больше чабану хотелось итти куда-то далеко, далеко, где бы не было ничего такого, что он знал или что мог себе представить, а Майя хирела и бледнела с каждым днем и все думала: «зачем?.. зачем?..»

А осень приближалась. Все чаще грозы пролетали над степью, и все чаще и мрачнее хмурилось небо, дни становились короче, чаще тени ночные... и порою Майя в них видела седую голову своей матери, мать печально качала головой, и тоской светились ее старые очи... и лес золотился на солнце, надевая пурпурный осенний убор.

Чабан все сидел рядом с Майей и жадно поглядывал в даль и молчал; а иногда вдруг обнимал маленькую фею и так целовал ее, что она чуть не задохнулась в его руках. И все хирела, хирела Майя.

Раз как-то утром, — совсем уж осеннее то было утро, пасмурное, и тучи низко нависли над землей, тяжелые, хмурые — вот-вот упадут на степь и покроют ее толстым пуховым, сизым покрывалом, — вот этим-то утром проснулась Майя и сказала чабану:

— Умираю я, милый! да, умираю!..

Горем и радостью вместе блеснули чабановы очи, и он поднял ее с земли.

— Полно, голубка! — сказал он в тревоге.

— Нет, умираю!.. Умерло лето, и я вслед за ним! Неси меня к лесу, скорее!

Он взял ее и понес.

Темен и мрачен был лес; уж не шептал он, как прежде бывало, так нежно и мощно в одно время, и когда-то яркозеленая листва его зарделась осенней краской, и много этой листвы попадало к корням. Тихо в нем было, стояли деревья, молчали и думали думы про лето; и тучи повисли над их вершинами низко, низко, и плакали о чем-то мелким и частым осенним дождем.

У опушки остановила Майя чабана и сказала тихо:

— Положи меня на землю!

Он положил ее, а сам сел рядом.

Порыв ветра прилетел со степи и много листьев сорвал с деревьев; они посыпались, крупные и красные, на головы Майи и чабана; деревья зашумели, — монотонно они зашумели, — и был ли это их привет Майе, или смеялись они над нею и укоряли ее, нельзя было разобрать.

— Прощай! — сказала она чабану. — И ты, лес, прощай! Прощай и солнце, там, за тучами! И вы, тучи, прощайте! Вы пугали меня раньше вашей буйной отвагой, но теперь я знаю, что вами правит ветер, а им еще что-то, и над всем царицею — Судьба, и она наверно тоже у кого-нибудь в неволе, может быть, у Смерти, что хочет взять меня... Но наверное и Смерть не свободна! никогда она не складывает рук, все работает и работает... Зачем?.. Ну, прощай же еще раз, мой смелый! Теперь ты снова свободен, как орел! Но зачем тебе это? спрашивал ли ты себя?.. Прощай! Буду ли я пеной в море, или голубою мглой на горах, или вечерней тенью степной, — я всегда буду помнить о тебе. Прощай! Поцелуй еще раз!..

И когда он ее целовал, она умерла. Лежала она под деревьями, и они глухо роптали на что-то; и была она такая маленькая и спокойная, личико ее сделалось бледнее лилии... и тучи еще ниже спустились над степью и лесом и еще пуще за-

плакали... а у чабана пало сердце в груди и тоской, тоской переполнилось оно.

Он смотрел на нее, — она не была уж так хороша, как живая, но дороже была ему теперь и больше любил он ее в эту-то грустную минуту. Да, больше он любил ее, потому что потерял... и ныло его сердце и плакало... и злоба закипела в нем горячим ключом.

Он запел, в последний раз, может быть:

Пусть бы тот, кто первый влил
В чашу жизни страсти яд,
Сам бы чашу эту пил
Долго, долго, бесконечно!..
И, желая смерти, жил,
Жил бы вечно!

И по лесу зазвучало глухое эхо: «жил бы вечно!..»

Но это что же за песня?! Чабан уж видел, что это не песня, и ему чего-то жалко и стыдно стало.

Взмахнув над головой своей длинной палкой, он свистнул тихо и жалобно, пошел в даль, навстречу тучам — и пропал там.

А фея все лежала на опушке леса, и мокрые листья все падали, падали на нее... К вечеру солнечный луч проскользнул между тучами и не видел у опушки ничего, кроме высокой кучи красных и желтых листьев; а над нею, на черной

и мокрой ветке дуба, сидел зимородок и посвистывал грустно и тихо. Тогда солнечный луч снова спрятался: стало темно, — и веселая маленькая фея Майя так и осталась под осенними листьями...

Вот и все.

В тот вечер над Дунаем, на сваленном бурею мшистом дубе сидели три мудрых гнома и говорили о смерти веселой Майи. Они уж знали, что она умерла, так как они знают все, что где-либо случается, и знают даже немножко из того, что может случиться завтра; говорили они, — и один сказал так:

— Вот и вся жизнь маленькой Майи! Что ж! она получила, сколько могла; право, ей не на что жаловаться.

— Мне кажется, что любовь называют наслаждением потому только, что это уж очень сильная боль, и мне не жалко фею, как ничего не жалко, — потому что все глупо! — сказал, немного погодя, второй, который был помудрее первого.

А третий, набрав в руку камешков, задумчиво бросал их в речные волны и смотрел, улыбаясь, как от камней расходятся по воде круги и пропадают, стертые течением; он ровно ничего, ни слова не сказал, хотя думал не меньше, чем товарищи, и еще больше морщин, чем у них, резало его чело. Он ничего не сказал.

Он-то и был мудрейший.

Ну вот, я и рассказал эту сказку. Не новая эта сказка, и, может быть, она самой жизнью давно уже написана в твоём сердце; да ведь говорят, что и нет ничего на свете такого, чего бы уж раньше не было!..

...А рассказать-то мне так хотелось!

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

ПЕСНЬ РАГНАРА

Из рассказа

„Возвращение норманнов из Англии“

...Вот как звучала она, руна битв, песнь о крови и железе, о смерти храбрых, о славе подвигов их, о счастье быть норманном и о любви к родине, — ... вот как звучала песнь, в которой волки моря черпали мудрость для жизни и силу для подвигов.

Мы рубились мечами в пятьдесят одной
битве.
Много пролито нами алой крови врагов!
Мы на крыльях служили скоттам,
бриттам обедню,
Много мы положили в землю храбрых
людей,
И в чертоги Одина мы проводили
В битвах с людом Эрина храбро павших
норманн.
Облеченные славой и с богатой добычей,
От потехи кровавой мчимся мы отдыхать.
Крики боли, проклятья позади нас
остались.

ШЕСНЯ ИЗ ПЬЕСЫ „НА ДНЕ“

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно.
Дни и ночи часовые
Стерегут мое окно.
Как хотите, стерегите,
Я и так не убегу.
Мне и хочется на волю —
Цель порвать я не могу.

СТИХИ КАЛЕРИИ И ВЛАСА

Из пьесы „Дачники“

Стихи Калерии

Осени дыханием гонимы,
Медленно с холодной высоты
Падают красивые снежинки,
Маленькие, мертвые цветы...

Кружатся снежинки над землею,
Грязной, утомленной и больной,
Нежно покрывая грязь земную
Ласковой и чистой пеленой...

Черные, задумчивые птицы...
Мертвые деревья и кусты...
Белые безмолвные снежинки
Падают с холодной высоты...

Стихи Власа

Маленькие, нудные людишки
Ходят по земле моей отчизны,
Ходят и — уныло ищут места,
Где бы можно спрятаться от жизни.

Все хотят дешевенького счастья,
Сытости, удобств и тишины.
Ходят и — всё жалуются, стонут,
Серенькие трусы и лгуны.

Маленькие, краденые мысли...
Модные, красивые словечки...
Ползают тихонько с краю жизни
Тусклые, как тени, человечки.

СТИХИ ЛИЗЫ И ВАГИНА

Из пьесы „Дети Солнца“

I

Стихи Лизы

Орел поднимается в небо,
Сверкая могучим крылом...
И мне бы хотелось, и мне бы
Туда, в небеса; за орлом!

Хочу! Но бесплодны усилья!
Я — дочь этой грустной земли,
И долго души моей крылья
Влачили в грязи и пыли...

Люблю ваши дерзкие споры
И яркие ваши мечты,
Но — знаю я темные норы,
Живут в них слепые кроты;

Красивые мысли им чужды,
И солнцу душа их не рада,
Гнетут их тяжелые нужды,
Любви и вниманья им надо!

Они между мною и вами
Стоят молчаливой стеною...
Скажите — какими словами
Могу я увлечь их за мною?

II

Стихи Вагнера

Как искры в туче дыма черной,
Средь этой жизни мы — одни.
Но мы в ней — будущего зерна!
Мы в ней — грядущего огни!

Мы дружно служим в светлом храме
Свободы, правды, красоты —
Затем, чтоб гордыми орлами
Слепые выросли кроты.

III

Стихи Лизы

(Из финала пьесы)

Милый мой идет среди пустыни
В знойном море красного песка...
Знаю я, в дали туманно-синей
Ждет его пустыня и тоска...

Солнце, точно чье-то злое око,
Молча смотрит с неба жгучим
взглядом...
Я приду и встану с милым рядом —
Трудно ему там и одиноко!

Мой милый строен и высок,
А я — красива и легка,
И оба мы, как два цветка,
На красный брошены песок...

И вдвоем, объаты жгучим зноем,
Мы пойдем далеко по песку,
И в пустыне мертвой мы зароем
Он — свои мечты... а я — тоску...

СТИХИ СИМЫ ДЕВУШКИНА

Из повести „Городок Окуров“

1

Позади у нас — леса,
Впереди — болото.
Господи! Помилуй нас!
Жить нам — неохота.

Скушно, тесно, голодно —
Никакой отрады!
Многие живут лет сто —
А — зачем их надо?

Может, было б веселей,
Кабы вдоволь пищи...
Ну, а так — живи скорей,
Да и — на кладбище!

Боже, мы твои люди,
А в сердцах у нас злоба!
От рожденья до гроба
Мы друг другу — как звери!

С нами, господи, буди!
Не твои ли мы дети?

Мы толкуем о вере,
О тебе, нашем свете...

3

Пресвятая богородица,
Мати господя всевышнего!
Обрати же взор твой ласковый
На несчастную судьбу детей!
В темных избах дети малые
Гибнут с холода и голода,
Их грызут болезни лютые,
Глазки деток гасит злая смерть!
Редко ласка отца-матери
Дитя малое порадует,
Их ласкают — только мертвеньких,
Любят — по пути на кладбище...

4

Правду рассказать про вас
Я никак, не смею,
Потому вы за нее
Сломите мне шею...
Будь я ровня вам, тогда
Я бы — не боялся,
И без всякого труда
Над вами посмеялся.
Стыдно мне смотреть на вас,
Стыдно и противно...

5

Ходят волки по полям да по лесам,
Воют, морды поднимая к небесам.
Я волкам — тоской моей,

Точно братьям, кровно сроден,
И не нужен, не угоден
Никому среди людей!
Тяжело на свете жить!
И живу я тихомолком.
И боюсь — серым волком —
Громко жалобу завывать!

6

Эх, попел бы я веселых песен!
Да кому их в нашем месте нужно?
Город для веселья — глух и тесен.
Все живут в нем злобно и недужно.
В городе у нас — как на погосте —
Для всего готовая могила.
Братцы мои! Злую склоку бросьте,
Чтобы жить на свете легче было!

7

Снова тучи серые мчатся над болотами,
Разлилася в городе тишина глубокая,
Люди спят, измучены тяжкими заботами,
И висит над сонным небом одноокое...
В небе тучи гонятся за слепой луной,
Полям тихо крадется чья-то тень за мной...

8

Полям идут двое —
Старый с молодым...
Перед ними — тени
Стелются, как дым...
Старый молодому
Что-то говорит,

Впереди далеко
Огонек горит...
Узкою тропинкою
Тесно им идти,
Покрывают тени
Ямы на пути.
Оба спотыкаются,
Попадая в ямы,
Но идут тихонько
Дальше все и прямо.
Господи владыко,
Научи ты их,
Как дойти средь ночи
До путей твоих!

9

Господи, помилуй!
Мы — твои рабы!
Где же взять нам силы
Против злой судьбы
И нужды проклятой?
В чем мы виноваты?
Мы тебе — покорны,
Мы с тобой — не спорим,
Ты же смертью черной
И тяжелым горем
Каждый день и час
Убиваешь нас!

ИЗ «РУССКИХ СКАЗОК»

(1)

А еще был такой случай.

Некто, считая себя поэтом, писал стихи, но — почему-то все плохие, и это очень сердило его.

Вот однажды идет он по улице и видит: валяется на дороге кнут — извозчик потерял.

Осенило поэта вдохновение, и тотчас же в уме его сложился образ:

Как черный бич — в пыли дорожной
Лежит — раздавлен — труп змеи.
Над ним — рой мух гудит тревожно,
Вокруг — жуки и муравьи.

Белеют тонких ребер звенья
Сквозь прорванную чешую...
Змея! Ты мне напоминаешь
Любовь издохшую мою...

А кнут стал на конец кнутовища и говорит, качаясь:

— Ну, зачем врешь? Женатый человек, грамоту знаешь, а — врешь! Ведь не изды-

хала твоя любовь, жену ты и любишь, и боишься ее...

Поэт рассердился.

— Это не твое дело!

— И стихи скверные...

— А тебе и таких не выдумать! Только свистеть можешь, да и то не сам.

— А, все-таки, зачем врешь? Ведь не издыхала любовь-то?

— Мало ли чего не было, а нужно, чтоб было...

— Ой, побьет тебя жена! Отнеси-ка ты меня к ней...

— Как же, дожидайся!

— Ну, бог с тобой! — сказал кнут, сваясь штопором, лег на дороге и задумался о людях, а поэт пошел в трактир, спросил бутылку пива и тоже стал размышлять, но — о себе.

«Хотя кнут и дрянь, но стихи опять плоховаты, это верно! Странное дело! Один пишет всегда плохие стихи, а другому, иной раз, удаются хорошие — до чего все неправильно в этом мире! Дурацкий мир!»

Так он сидел, пил и, всё более углубляясь в познание мира, пришел, наконец, к твердому решению — надо говорить правду: совершенно никуда не годится этот мир, и человеку в нем даже обидно жить! Часа полтора думал он в этом направлении, а потом сочинил:

Пестрый бич наших страстных желаний
Гонит нас в кольца Смерти-Змеи,
Мы плутаем в глубоком тумане.
Ах — убьемте желанья свои!

Они в даль нас обманно манят,
Мы влачимся сквозь терн обид,
По пути — сердце скорби нам ранят,
А в конце его — каждый убит...

И прочее в этом духе — двадцать восемь строк.

— Вот это — ловко! — воскликнул поэт и пошел домой, очень довольный собою.

Дома он прочитал стихи жене — ей тоже понравилось.

— Только, — сказала она, — первое четверостишие как будто не того...

— Сожрут! Пушкин начал тоже «не того»... Зато — размер каков! Панихида!

Потом он стал играть со своим сынишкой; посадив его на колено и подкидывая, пел тенорком:

Скок-поскок!
На чужой мосток!
Эх, буду богат —
Я свой намощу,
Никого не пущу!

Очень весело провели вечер, а утром поэт снес стихи редактору, и редактор сказал глубокомысленно — они все глу-

бокомысленны, редактора, оттого-то журналы и скучны.

— Гм! — сказал редактор, трогая себя за нос. — Это, знаете, неплохо, а главное — очень в тон настроению времени, очень! М-да, вот вы, пожалуй, и нашли себя. Ну-с, продолжайте в том же духе... Шестнадцать копеек строка... четыре сорок восемь... Поздравляю!

Потом стихи были напечатаны, и поэт почувствовал себя именинником, а жена усердно целовала его, томно говоря:

— М-мой поэт, о-о...

Славно время провели!

А один юноша — очень хороший юноша, мучительно искавший смысла жизни, — прочитал эти стихи и застрелился.

Он, видите ли, был уверен, что автор стихов, прежде чем отвергнуть жизнь, искал смысла в ней так же долго и мучительно, как искал сам он, юноша, и он не знал, что эти мрачные мысли продаются по шестнадцати копеек строка. Серьезный был.

Да не помыслит читатель, что я хочу сказать, будто бы порою даже кнут может быть употреблен с пользой для людей.

(II)

Долго жил Евстигней Закивакин в тихой скромности, в робкой зависти и вдруг неожиданно прославился.

А случилось это так: однажды после роскошной пирушки он истратил последние свои шесть гривен и, проснувшись наутро в тяжком похмелье, весьма удрученный, сел за свою привычную работу: сочинять объявления в стихах для «Анонимного бюро похоронных процессий».

Сел и, пролив обильный пот, убедительно написал:

Бьют тебя по шее или в лоб, —
Все равно, ты ляжешь в темный гроб...
Честный человек ты иль прохвост, —
Все-таки оттащат на погост.
Правду ли ты скажешь, иль соврешь, —
Это все едино: ты умрешь!..

И так далее в этом роде, аршина полтора.

Понес работу в «бюро», а там не принимают:

— Извините, — говорят, — это никак нельзя напечатать: многие покойники могут обидеться и даже содрогнуться в гробах. Живых же увещевать в смерти не стоит, — они сами собою, бог даст, помрут...

Огорчился Закивакин:

— Чорт бы вас побрал! О покойниках заботитесь, монументы ставите, панихиды служите, а живой — помирай с голоду...

В губительном настроении духа ходит он по улицам и вдруг видит — вывеска, а

на ней черными буквами по белому полю сказано:

«Жатва Смерти».

— Еще похоронное бюро, а я и не знал! — обрадовался Евстигней:

Но оказалось, что это не бюро, а редакция нового беспартийного и прогрессивного журнала для юношества и самообразования. Закивакина ласково принял сам редактор-издатель Мокей Говорухин, сын знаменитого салотопа и мыловара Говорухина, парень жизнедеятельный, хотя и худосочный.

Посмотрел Мокей стихи, — одобрил:

— Ваши, — говорит, — вдохновения как раз то самое, еще никем не сказанное слово новой поэзии, в поиски за которым я и снаряжился, подобно аргонавту Герострату...

Конечно, всё это он врал по внушению странствующего критика Лазаря Сыворотки, который тоже всегда врал, чем и создал себе громкое имя.

Смотрит Мокей на Евстигнея покупающими глазами и повторяет:

— Материальчик впору нам, но имейте в виду, что мы стихов даром не печатаем!

— Я и хочу, чтобы мне заплатили, — сознался Евстигнейка.

— Ва-ам? За стихи-то? Шутите! — смеется Мокей. — Мы, сударь, только третьего дня вывеску повесили, а уж за

это время стихов нам прислано семьдесят девять сажен! И все именами подписаны!

Но Евстигней не уступает, и согласился на пяточке за строку.

— Только потому, что уж очень это у вас здорово пущено! — объяснял Мокей. — Надо бы псевдонимец вам избрать, а то Завивакин не вполне отлично. Вот ежели бы... например, — Смертяшкин, а? Стильно!

— Все равно, — сказал Евстигней. — Мне бы гонорар получить: есть очень хочется...

Он был парень простодушный...

И через некоторое время стихи были напечатаны на первой странице первой книги журнала под заголовком:

«Голос вечной правды».

С того дня и постигла Евстигнейку слава: прочитали жители стихи его, — обрадовались:

— Верно написал, материн сын. А мы живем, стараемся кое-как, то да се, и незаметно нам было, что в жизни-то нашей никакого смысла, между прочим, нет! Молодец Смертяшкин!

И стали его на вечера приглашать, на свадьбы, на похороны да на поминки, а стихи его во всех модных журналах печатаются по полтине строка, и уже на литературных вечерах полногрудые дамы, очаровательно улыбаясь, читают «поэзы Смертяшкина».

Нас ежедневно жизнь разит,
Нам отовсюду смерть грозит.
Со всяких точек зрения,
Мы только жертвы тления!

— Bravo-o! Спасибо-o! — кричат жители.

— А, ведь, пожалуй, я и в самом деле поэт? — задумался Евстигнейка и начал — понемножку — зазнаваться: завел чернопестрые носки и галстуки, брюки надел тоже черные с белой полоской поперек и стал говорить томно, разводя глазами в разные стороны.

— Ах, как это пошло-жизненно!

Заупокойную литургию прочитал и употребляет в речи мрачные слова: паки, дондеже, всуе. . .

Ходят вокруг него разные критики, истощая Евстигнейкин гонорарий, и внушают ему:

— Углубляйся, Евстигней, а мы поддержим!

И действительно когда вышла книжка: «Некрологи мечтаний и эпитафии желаний, поэты Евстигней Смертяшкина», то критики весьма благосклонно отметили глубокую могильность настроений автора. Евстигнейка же на радостях решил жениться: пошел к знакомой модерн-девице Нимфодоре Завалашкиной и сказал ей:

— О, безобразна, бесславна, не имущая вида!

Она долго ожидала этого и, упав на грудь его, воркует, разлагаясь от счастья: — Я согласна идти к смерти рука-об-руку с тобою!

— Обреченная уничтожению! — воскликнул Евстигней.

Нимфодора же, смертельно раненная страстью, отзывается:

— Мой бесследно исчезающий!

Но тотчас, вполне возвратясь к жизни, предложила:

— Мы обязательно должны устроить стильный быт!

Смертяшкин уже к многому привык и понял.

— Я, — говорит, — конечно, недостижимо выше всех предрассудков, но если хочешь, давай обвенчаемся в кладбищенской церкви!

— Хочу ли? О, да! И пусть все шафера тотчас после свадьбы застрелятся!

— Все, пожалуй, не пойдут на это, а Кукин может, — он уже семь раз стрелялся.

— И чтобы священник был старенький, знаешь, такой... накануне смерти.

Так, стильно мечтая, они сидели до той поры, пока из холодной могилы пространства, где погребены мириады погасших солнц и в мертвой пляске кружатся замороженные планеты, — пока в этой пустыне бездонного кладбища усопших миров не появился лик луны, угрюмо осветив землю, пожирающую все живое... Ах, это

жуткое сияние умершей луны, подобное свечению гнилушек, всегда напоминает чутким сердцам, что смысл бытия — тление, тление...

Смертяшкин настолько воодушевился, что даже без особого труда стихи сочинил и прошептал их черным шопотом в ухо будущему скелету возлюбленной:

Чу, смерть стучит рукою честной
По крышке гроба, точно в бубен:
Я слышу зов ее так ясно
Сквозь пошлый хаос скучных буден.

Жизнь спорит с нею, лживым кличем
Зовет людей к своим обманам;
Но мы с тобой не увеличим
Числа рабов, плененных ею!

Нас не подкупишь ложью сладкой,
Ведь, знаем мы с тобою оба,
Жизнь — только миг, больной и краткий,
А смысл ее — под крышкой гроба.

— Как мертво! — восхищалась Нимфодора. — Как тупо-могильно!

Она все эти штуки превосходно понимала.

На сороковой день после этого они венчались у Николы на Тычке, в старенькой церкви, тесно окруженной самодовольными могилами переполненного кладбища. Ради стилия свидетелями брака под-

писались два могильщика, шаферами были заведомые кандидаты в самоубийцы; в подружки невеста выбрала трех истеричек, из которых одна уже вкушала уксусную эссенцию, другие готовились к этому, и одна дала честное слово покончить с собой на девятый день после свадьбы.

А когда вышли на паперть, шафер, прыщеватый парень, изучавший на себе действие сальварсана, открыв дверь кареты, мрачно сказал:

— Вот катафалк!

Новобрачная, в белом платье с черными лентами и под черной фатой, умирала от восторга, а Смертяшкин, влажными глазами оглядывая публику, спрашивал шафера:

— Репортеры есть?

— И фотограф...

— Не шевелись, Нимфочка...

Репортеры, из уважения к поэту, оделись факельщиками, а фотограф палачом, жители же, — им все равно, на что смотреть, было бы забавно, — жители одобряли:

— *Que! chic*

И даже какой-то вечно голодающий мужичок согласился с ними:

— *С агмант!*

— Да-а, — говорил Смертяшкин новообрачной за ужином в ресторане против кладбища: — мы прекрасно похоронили нашу юность! Вот именно это и называется победой над жизнью!

— Ты помнишь, что это всё мои идеи? — спросила нежно Нимфодора.

— Твои? Разве?

— Конечно.

— Ну... всё равно:

Я и ты — одна душа и тело.

Мы с тобой теперь навеки слиты.

Это смерть так мудро повелела,

Мы ее рабы и сателлиты...

— Но все-таки я не позволю тебе поглотить мою индивидуальность! — очаровательно предупредила она. — И потом — сателлиты, я думаю, надо произносить два «т» и два «л»! Впрочем сателлиты, вообще, кажутся мне не на месте...

Смертяшкин еще раз попробовал одолеть ее стихами:

Что такое наше «я»,

Смертная моя?

Нет его иль есть оно, —

Это всё равно?

Будь активна, будь инертна, —

Все равно, ты не бессмертна!

— Нет, уж это надобно оставить для других, — кротко сказала она.

После длинного ряда таких и подобных столкновений у Смертяшкина случайно родилось дитя — девочка, и Нимфодора повелела:

— Люльку закажи в форме гробика!

— Не слишком ли это, Нимфочка?

— Нет уж, пожалуйста! Стиль надо сохранять строго, если ты не хочешь, чтобы критика и публика упрекнули тебя в раздвоенности и неискренности...

Она оказалась очень хозяйственной дамой; сама солила огурцы, тщательно собирала все рецензии о стихах мужа и, уничтожая неодобрительные, похвальные издавала отдельными томиками за счет поклонников поэта.

С хорошей пищи стала она женщиной дородной, глаза ее всегда туманились мечтой, возбуждая в людях мужского пола страстное желание подчиниться року. Завела домашнего критика, жилистого мужчину, рыжего цвета, сажала его рядом с собою и, вонзая туманный взгляд прямо в сердце ему, читала нарочито гнусаво стихи мужа, убежденно спрашивая:

— Глубоко? Сильно?

Тот первое время только мычал, а потом стал ежемесячно писать пламенные статьи о Смертяшкине, который «с непостижимой углубленностью проник в бездонность той черной тайны, которую мы, жалкие, зовем Смертью, а он полюбил чистой любовью прозрачного ребенка. Его янтарная душа не отемнилась познанием ужаса бесцельности бытия, но претворила этот ужас в тихую радость, в сладостный призыв к уничтожению той непрерывной

пошлости, которую мы, слепые души, именуем Жизнью».

При благосклонной помощи рыжего, — по убеждениям он был мистик и эстет, по фамилии Прохарчук, по профессии парикмахер, — Нимфодора довела Евстигнейку до публичного чтения стихов: выйдет он на эстраду, развернет коленки направо-налево, смотрит на жителей белыми овечьими глазами, покачивая угловатой головою, на которой росли разные разности мочального цвета, безучастно вещает:

В жизни мы — как будто на вокзале,
Пред отъездом в темный мир
загробный. . .

Чем вы меньше чемоданов взяли,
Тем для вас и легче и удобней!

Будем жить бессмысленно и просто.
Будь пустым, тогда и будешь чистым.
Краток путь от люльки до погоста!
Служит Смерть для жизни машинистом! . .

— Bravo-o! — кричат вполне удовлетворенные жители. — Спасибо-o!

И говорят друг другу:

— Ловко, шельма, доказывает, даром, что этакий обсосанный!

Те же, кому ведомо было, что раньше Смертяшкин работал стихи для «Анонимного бюро похоронных процессий», были,

конечно, и теперь уверены, что он все свои песни поет для рекламы «бюро», но, будучи ко всему одинаково равнодушны, молчали, твердо памятуя одно:

— Каждому жрать надо!

«А, может, я и в самом деле — гений! — думал Смертяшкин, слушая одобрительный рев жителей. — Ведь никто не знает, что такое гений; некоторые утверждали же, будто гении — полоумные... А если так...»

И при встрече со знакомыми стал спрашивать их не о здоровье, а:

— Когда умрете?

Чем и приобрел еще большую популярность среди жителей.

А жена устроила гостиную в виде склепа; диванчики поставила зелененькие, в стиле могильных холмиков, а на стенах развесила снимки с Гойя, — всё с Гойя, да еще и Вюртц!

Хвастается:

— У нас даже в детской веяние Смерти ошутимо: дети спят в гробиках, няня одета схимницей, — знаете, такой черный сарафан, с вышивками белым — черепа, кости и прочее, очень интересно! Евстигней, покажи дамам детскую! А мы, господа, пойдемте в спальню...

И, обаятельно улыбаясь, показывала убранство спальни: над кроватью в форме саркофага — черный балдахин, с серебряной бахромой; поддерживали его выточенные из дуба черепа, орнамент — малень-

кие скелетики играют могильными червяками.

— Евстигней, — объясняла она, — так поглощен своей идеей, что даже спит в саване...

Некоторые жители изумлялись:

— Спи-ит?

Она печально улыбалась.

А Евстигнейка был в душе парень честный и порою невольно думал:

«Уж если я — гений, то — что же уж? Критика пишет о влиянии, о школе Смертяшкина, а я... не верю я в это!»

Приходил Прохарчук, разминая мускулы, смотрел на него и спрашивал басом:

— Писал? Ты, брат, пиши больше. Остальное мы с твоей женой живо сделаем... Она у тебя хорошая женщина, и я ее люблю...

Смертяшкин и сам давно видел это, но по недостатку времени и любви к покою ничего не предпринимал против.

А то сядет Прохарчук в кресло поудобнее и рассказывает обстоятельно:

— Знал бы ты, брат, сколько у меня мозолей и какне. У самого Наполеона не было таких...

— Бедный мой! — вздыхала Нимфодора, а Смертяшкин пил кофе и думал:

«Как это правильно сказано, что для женщин и лакеев нет великих людей!»

Конечно, он, как всякий мужчина, был

неправ в суждении о своей жене, — она весьма усердно возбуждала его энергию:

— Стегнышко! — любовно говорила она. — Ты, кажется, и вчера ничего не писал? Ты все чаще манкируешь талантом, милый! Иди поработай, а я пришлю тебе кофе...

Он шел, садился к столу и неожиданно сочинял совершенно новые стихи:

Сколько пошлости и вздора
Написал я, Нимфодора,
Ради тряпок, ради шубок,
Ради шляпок, кружев, юбок!

Это его пугало, и он напоминал себе:
— Дети!

Детей было трое. Их надо было одевать в черный бархат, каждый день в десять часов утра к крыльцу подавали изящный катафалк, и они ехали гулять на кладбище, — все это требовало денег.

И Смертяшкин уныло выводил строка за строкой:

Всюду жирный трупный запах
Смерть над миром пролила.
Жизнь в ее костлявых лапах,
Как овца в когтях орла.

— Видишь ли, что, Стегнышко, — любовно говорила Нимфодора. — Это не со-

всем... как тебе сказать? Как надо сказать, Маша?

— Это не твое, Евстигней! — говорил Прохарчук басом и с полным знанием дела. — Ты — автор «Гимнов смерти», и пиши гимны...

— Но это же новый этап моих переживаний! — возражал Смертяшкин.

— Ну, милый, ну, какие переживания? — убеждала жена. — Надобно в Ялту ездить, а ты чудишь!

А Прохарчук гробовым голосом внушает:

— Что ты обещал?

— Обрати внимание: «как овца в» невольно напоминает фамилию министра Ковковца, и это может быть принято за политическую выходку! Публика глупа, политика — пошлость!

— Ну, ладно, не буду, — говорил Евстигней, — не буду! Все едино, ерунда!

— Имей в виду, что стихи твои за последнее время вызывают недоумение не у одной твоей жены! — предупреждал Прохарчук.

Однажды Смертяшкин, глядя, как его пятилетняя дочурка Лиза гуляет в саду, написал:

Маленькая девочка ходит среди сада.
Беленькая ручка дерзко рвет цветы...
Маленькая девочка, рвать цветы не надо,
Ведь они такие же хорошие, как ты!

Маленькая девочка! Черная, немая
За тобою следом тихо смерть идет,
Ты к земле наклонишься, косу поднимая,—
Смерть оскалит зубы и смеется, ждет...

Маленькая девочка! Смерть и ты, как сестры,
Ты ненужно губишь яркие цветы,
А она косою острой — вечно острой —
Убивает деток, вот таких, как ты...

— Но это же сантиментально, Евстигней,—
негодую, крикнула Нимфодора. — Помилуй,
куда ты идешь? Что ты делаешь с своим
талантом?

— Не хочу я больше, — мрачно заявил
Смертяшкин.

— Чего не хочешь?

— Этого. Смерть, смерть — довольно!
Мне противно слово самое!

— Извини меня, но ты дурак!

— Пускай. Никому неизвестно, что та-
кое гений. А я больше не могу. К чорту
могильность и все это... Я человек...

— Ах, вот как? — иронически восклик-
нула Нимфодора. — Ты — только человек?

— Да. И люблю все живое...

— Но современная критика доказала,
что поэт не должен считаться с жизнью
и вообще с пошлостью!

— Критика? — заорал Смертяшкин. —
Молчи, бесстыдная женщина! Я видел, как
современная критика целовала тебя за
шкафом!

— Это от восхищения твоими же стихами!

— А дети у нас рыжие, — тоже от восхищения?

— Пошляк! Это может быть результатом чисто интеллектуального влияния.

И вдруг, упав в кресло, заявила:

— Ах, я не могу больше жить с тобой! Евстигнейка и обрадовался, и в то же время испугался.

— Не можешь? — с надеждой и со страхом спросил он. — А дети?

— Пополоам!

— Трoих-то?

Но она стояла на своем. Потом пришел Прохарчук. Узнав, в чем дело, он огорчился и сказал Евстигнейке:

— Я думал, ты — большой человек, а ты — просто маленький мужчина!

И пошел собирать Нимфодорины шляпки. А пока он мрачно занялся этим, она говорила мужу правду:

— Ты выдохся. жалкий человек. У тебя больше ни таланта, ничего. Слышишь: ничего!

Захлебнулась слюной честного негодования и dokonчила:

— У тебя и не было ничего никогда! Если бы не я и Прохарчук — ты так всю жизнь и писал бы объявления в стихах, слизняк! Негодяй, похититель юности и красоты моей...

Она всегда в моменты возбуждения становилась красноречива.

Так и ушла она, а вскоре, под руководством и при фактическом участии Прохарчука, открыла «Институт красоты м-м Жизан из Парижа. Специальность — коренное уничтожение мозолей».

Прохарчук же, разумеется, напечатал, разумеется, разносную статью «Мрачный мираж», обстоятельно доказав, что у Евстигнея не только не было таланта, но что вообще можно сомневаться, существовал ли таковой поэт. Если же существовал, и публика признавала его, то это вина торопливой, неосторожной и неосмотрительной критики.

А Евстигнейка потосковал, потосковал и — русский человек быстро утешается! — видит: детей кормить надо!

Махнул рукой на прошлое, на всю смертельную поэзию, да и занялся старым, знакомым делом: веселые объявления для «Нового похоронного бюро» пишет, убеждая жителей:

Долго, сладостно и ярко
На земле мы любим жить,
Но придет однажды Парка
И обрежет жизни нить!

Обсудивши этот случай,
Не спеша, со всех сторон,

Предлагаем самый лучший
Материал для похорон!

Все у нас вполне блестяще,
Не истерто, не старо:
Заходите же почаще
В наше «Новое бюро»!

Могильная 16.

Так все и возвратились на стези своя.

СТИХИ КЕРМАНИ И ВИНЧЕНЦО

Из „Сказок об Италии“

Стихи Кермани

Что прекрасней песен о цветах
и звездах?
Всякий тотчас скажет: песни о любви!
Что прекрасней солнца в ясный
полдень мая?
И влюбленный скажет: та, кого люблю!

Ах, прекрасны звезды в небе
полуночи — знаю!
И прекрасно солнце в ясный полдень
лета — знаю!
Очи моей милой всех цветов
прекрасней — знаю!
И ее улыбка ласковее солнца — знаю!

Но еще не спета песня всех прекрасней,
Песня о начале всех начал на свете,
Песнь о сердце мира, о волшебном
сердце
Той, кого мы, люди, Матерью зовем!

Не видна и звездам в жаркой тьме
ночной.
Кто там степью скачет на коне
на белом?
Боже мой, о боже! Это — он, за мной?

Что ему скажу я, чем ему отвечу,
Если остановит он белого коня?
Господи, дай силу для приветной речи,
Ласковому слову научи меня.

Он промчался мимо встречу злым
зарницам,
Боже мой, о боже! Почему?
Господи, пошли скорее серафима,
Белой, вещей птицей вслед ему!

2

Ой, Мара!

К тебе под оконце
Пришел я недаром сегодня,
Взгляни на меня, мое солнце,
Я дам тебе, радость господня,
Монисто и талеры, Мара!

Ой, Мара!

Пусть красные шрамы
Лицо мое старое режут, —
Верь — старые любят упрямо
И знают, как женщину нежить.
Поверь сердцу старому, Мара!

Ой, Мара!

Ты знаешь, — быть может,

Бог дал эту ночь мне последней,
А завтра меня уничтожит, —
Так пусть отслужу я обедню
 Святой красоте твоей, Мара!
Ой, Мара!

СТИХИ ДЬЯКОНА

Из „Жизни Климма Самгина“

Не спалося господу Иусу,
И пошел господь гулять по звездам,
По небесной, золотой дороге
Со звезды на звездочку ступая.
Провожали господа Иуса
Николай, епископ Мирликийский,
Да Фома-апостол, — только двое.
Думает господь большие думы,
Смотрит вниз, — внизу земля вертится,
Кубарем вертится черный шарик,
Чорт его железной плетью хлещет.
«Был я там», — сказал Христос печально,
А Фома-апостол усмехнулся
И напомнил: «Чай, мы все оттуда».
Поглядел Христос во тьму земную
И спросил угодника Николу:
«Кто это лежит там, у дороги,
Пьяный, что ли, сонный, аль убитый?»
«Нет, — ответил Николай угодник, —
Это просто Васька Калужанин
О хорошей жизни замечтался».
Тут Христос, мечтателю мирволя,
Опустился голубем на землю.

Встал пред Васькой, спрашивает Ваську:
«Я — Христос, узнал меня, Василий?»
Васька перед богом — на колени,
Умилился духом, чуть не плачет.
«Господи! — бормочет, — вот так штука!
Мы тебя сегодня и не ждали!
Что ж ты не сказался мне заранее?
Я бы сбил народ тебе навстречу,
Мы бы тебя встретили со звоном
Всем бы нашим, Жиздринским уездом!»
Усмехнулся Иисус в бородку,
Говорит он мужику любовно:
«Я ведь на короткий срок явился,
Чтоб узнать: чего ты, Вася, хочешь?»
Васька Калужанин рот разинул,
Обомлел от радости Василий,
И потом, слюну глотая, шепчет:
«Дай же ты мне, господи, целковый,
Знаешь, неразменный этот рублик,
Как его ни трать, а — не истратишь,
Как ты ни меняй — не разменяешь!» —
«Денег у меня с собою — нету.
Деньги у Фомы, у казначея,
Он теперь Иуду замещает...»

...Дьякон, на вопрос Клима: что же сделал Васька Калужанин с неразменным рублем? — задумчиво рассказал:

— Вернулся Христос на небо, выпросил у Фомы целковый и бросил его Ваське. Запил Василий, загулял, конечно, как же иначе-то?

Пьет да ест Васяга, девок портит,
Молодым парням гармоньи дарит,
Стариков — за бороды таскает,
Сам орет на всю Калуцку землю:
«Мне плевать на всё — земные люди.
Я хочу — грешу, хочу — спасаюсь!
Все равно: мне двери в рай открыты,
Мне Христос приятель закадышный».

— А ужасный разбойник поволжский,
Никита, узнав, откуда у Васьки нераз-
менный рубль, выкрал монету, влез, во-
ровским манером, на небо и говорит
Христу: «Ты, Христос, неправильно сде-
лал: я, за рубль, на великие грехи ка-
ждую неделю хожу, а ты его лентяю
подарил, гуляке, — нехорошо это!..»

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворения Горького даны в этом сборнике в основном по второму, дополненному изданию собрания сочинений под ред. И. А. Груздева, М.—Л., ГИХЛ, 1933—1934. Тексты, не включенные в собрание сочинений, даны по прижизненным публикациям в периодической печати.

Отдел первый

Песня о Соколе. Впервые опубликована в 1895 г. под заголовком «Черноморье» (Песня), в серии: «Теневые картинки» III («Самарская газета», № 50, 5 марта). Вошло в первый том «Очерков и рассказов», 1898. При дальнейших перепечатках Горький вносил в текст поправки (вплоть до «Собрания сочинений», 1923 г.)

Прощай! Впервые опубликовано в 1895 г., в том же номере «Самарской газеты», в следующей редакции:

Прощай! Я поднял паруса
И встал со вздохом у руля,
И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса —

Все, чем прощается земля
Со мной... Прощай!

Мне даль пути грозит бедой,
И червь тоски мне сердце гложет,
И машет гривой вал седой.
Но море всей своей водой
Тебя из сердца смыть не может.
О нет!.. Прощай!

Не замедляй последний час,
Который я с тобой вдвоем
Переживал уже не раз.
Нет, больше он не сблизит нас.
Напрасно мы чего-то ждем...
Прощай!

Зачем тебя я одевал
Роскошной мантией мечты?
Любя тебя, я признавал,
Что я себе красиво лгал
И что мечта моя — не ты!
Зачем? Прощай!

Любовь всегда — немного ложь,
И правда вечно в ссоре с ней,
Любви достойных долго ждешь,
А их все нет... и создаешь
Из мяса в тряпках нежных фей...
Прощай!

Прощай! Я поднял паруса
И встал со вздохом у руля.
И резвых чаек голоса

Да белой пены полоса —
Все, чем прощается земля
Со мной... Прощай!

В переработанном виде это стихотворение введено Горьким в «Рассказ Филиппа Васильевича» (1905). Учитывая, что оно печаталось как отдельное произведение, а затем получило более совершенную редакцию, мы печатаем в первом разделе сборника последнюю редакцию.

В Черноморье. («Знойно. Тихо... Чудный вид!») Впервые опубликовано в 1895 г. («Самарская газета», № 71, 2 апреля). В собрание сочинений не вошло.

Песня о Буревестнике. Стихотворение было включено в аллегорию «Весенние мелодии», написанную в 1901 г. и близкую по стилю и идейно-тематическому заданию более ранней аллегории «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины». «Весенние мелодии» не могли быть напечатаны легально, благодаря острой сатирической направленности против либеральной буржуазии и «верхов» царской России, которые легко угадывались за аллегорическими образами птиц. Поэтому в легальной печати появился лишь конец произведения — «Песня о Буревестнике» (в 1901 г., в четвертой книге журнала «Жизнь», который на этом

номере был закрыт постановлением правительства). «Весенние мелодии» увидели свет в том же году в нелегальном издании, после чего распространились в России в огромном количестве экземпляров, размноженные гектографическим, а затем типографским способом (см. С. Балухатый, Литературная работа М. Горького, 1936, стр. 84). В собрание сочинений вошла только «Песня о Буревестнике».

Монолог Васьки Буслаева. Напечатан в воспоминаниях Горького «А. П. Чехов», впервые опубликованных в «Нижегородском сборнике», СПб., 1905. Этот монолог цитирован Горьким в качестве отрывка из задуманной им пьесы в стихах «Васька Буслаев».

Легенда о Марко. Впервые опубликована Горьким в 1895 г. в тексте сказки «О маленькой фее и молодом чабане» («Самарская газета», № 98, 11 мая). В 1903 г. композитор А. Спендиаров предложил Горькому положить песню о Марко на музыку. Горький переработал песню и, в частности, добавил заключительное четверостишие («А вы на земле проживете...»). В переработанном виде песня была издана Горьким в 1903 г. под заглавием «Легенда о Марко» (дешевая библиотека «Знание», № 1). Текст легенды был положен на музыку Спендиаровым («Рыбак

и фея, Баллада», 1903), С. Волковым-Давыдовым («Рыбак и фея. Мелодекламация», 1907), Базилевским («Фея», 1907), А. Туренковым («Фея», 1917). В собрание сочинений «Легенда о Марко» не вошла.

А кто там идет... (Из Янки Купалы.) Перевод стихотворения Янки Купалы «А хто там идзе...» опубликован Горьким в статье «О писателях-самоучках» («Современный мир», 1911, № 2). В дальнейшем этот перевод вошел в сборник Янки Купалы «Избранные стихотворения», перевод с белорусского, М., 1939.

Из дневника. Опубликовано в 1924 г. в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», изд. «Книга». Отрывок относится к впечатлениям Горького от империалистической войны, 1914 г.

Девушка и смерть. Сказка. Впервые опубликована в 1917 г. («Новая жизнь», № 82, 23 июля).

Баллада о графине Эллен де Курси. Впервые опубликована в 1917 г. («Летопись», № 7—8, июль — август).

Отдел второй

О чиже, котэры лгал, и о дятле — любителе истины. Впервые напечатано в 1893 г. («Волжский вестник», № 226, 4 сентября).

О маленькой фее и молодом чабане. Валацкая сказка. Впервые напечатана в 1895 г. («Самарская газета», № 98, 11 мая). В собрание сочинений не вошла (см. примечание к «Легенде о Марко», стр. 216).

Отдел третий

Песнь Рагнара (Из рассказа «Возвращение норманнов из Англии. По Тьерри»). Впервые опубликована в 1895 г. («Самарская газета», № 185, 27 августа). В собрание сочинений не вошло. Стихотворение является вольным переложением предсмертной песни корсара Раньяра Лодброга, приведенной О. Тьерри в его «Истории завоевания Англии норманнами» (см. текст песни в т. I русского перевода, СПб., 1858. стр. 76—77). По поводу песни Раньяра Тьерри замечает: «Предсмертная песнь этого знаменитого морского короля сделалась известною как одно из образцовых произведений скандинавской поэзии. Ее приписывают, против всякой очевидности, самому герою; но кто бы ни был ее автор, песнь эта носит живой отпечаток воинского и религиозного фанатизма, которые в IX в. делали датских и норманских викингов столь ужасными». В образе Раньяра Горького, повидимому, привлекли черты героизма и исключительного мужества: по преданию, Раньяр пел

свою, ставшую знаменитой предсмертную песню, будучи брошенным в темницу, «наполненную ехиднами и ядовитыми змеями».

Песня из пьесы «На дне». («Солнце всходит и заходит...») Авторство Горького устанавливается следующей его записью в одной из записных книжек: «Из всего сказанного мною широко принята и у всех в памяти песенка:

Как хотите стерегите, —
Я и так не убегу,
Мне и хочется на волю —
Цепь порвать я не могу!»

Пьеса «На дне» впервые напечатана в 1902 г. Первая постановка в МХАТ 18 декабря 1902 г. Песня многократно издавалась в аранжировке различных композиторов. Для МХАТ песню аранжировал А. Гольденвейзер.

Стихи Калерии и Власа (из пьесы «Дачники»). Впервые пьеса напечатана в 1904 г. (сборник «Знание», кн. III, 1905). Первое представление в театре В. Ф. Комиссаржевской 11 ноября 1904 г.

Калерия — сестра адвоката Басова, 29 лет, декадентствующая поэтесса. *Влас* — брат жены Басова, 25 лет, письмоводитель в суде; относится с презрением к обывательски настроенной ин-

теллигенции, изображенной в пьесе. В разговоре с сестрой — Варварой Михайловой — признается: «Совестно как-то жить, неловко... И не понимаешь, что же будет дальше?» Стихотворение «Осени дыханием гонимы» было положено на музыку композиторами И. Соколом, Глиэром, Ф. Бобровым и Н. Волковым (последними тремя под заглавием «Снежинки»).

Стихи Лизы и Вагина (из пьесы «Дети солнца»). Впервые пьеса напечатана в 1905 г. (сб. «Знание», кн. VII). Первое представление в театре В. Ф. Комиссаржевской 8 октября 1905 г. и в МХАТ 24 октября того же года.

Лиза — сестра Протасова, ученого-энтузиаста, гуманиста, считающего, что «человек — самое яркое, самое прекрасное явление на земле». Вагин — художник; о Лизе говорит, что она «интересничает своей скорбью о мире». В стихах Лизы «Орел поднимается в небо...» воплощена основная идея пьесы, идея трагической оторванности интеллигенции от народа и вытекающей отсюда внутренней бессодержательности духовных стремлений «детей солнца». Стихотворение «Как искры дыма в туче черной...» было послано Горьким в 1911 г. итальянскому рабочему Луиджи Цапелли (см. К. Злинченко. Из воспоминаний о Горьком, «Красная новь», 1928, № 6, стр. 174—175). Стихи из финала

пьесы («Милый мой идет среди пустыни...») Лиза произносит уже в состоянии безумия.

Стихи Симы Девушкина (из повести «Городок Окуров»). Повесть впервые напечатана в 1909 г. (сб. «Знание», кн. XXVIII). В стихах Симы Девушкина — «слободского поэта» — отражены основные мотивы повести: с одной стороны ощущение ее героями обезчеловечивающей дикости окуровской жизни, стремление к «правде», к иной, светлой жизни, характерное в смутной форме для Симы Девушкина и в форме более определенной для «правдоискателя» Тиунова; с другой стороны — ощущение героями безысходности и обреченности «несчастной судьбе», жизни «как на погосте». Содержание стихов Симы Девушкина целиком определено впечатлением окуровского быта. Так, например, третье из приводимых в нашем сборнике стихотворений («Пресвятая богородица...»), посвященное судьбе детей, Девушкин комментирует следующими словами: «Это я потому, что у Стрельцовых Лиза померла. Долго очень хворала, а мать все на поденщину ходит, — сердилась на нее, на Лизу: мешаешь, кричала. А умерла — так она третьи сутки плачет теперь, Марья-то Назаровна!» Четвертое стихотворение («Правду рассказать про

вас...») является ответом Симы Девушкина податному инспектору Жукову, заказавшему ему «стихи с перцем».

Из «Русских сказок». Первая из печатаемых здесь сказок была опубликована в 1912 г. в «Современном мире», № 9, вторая — в том же году, в «Русском слове», № 290, 16 декабря. Появление в печати второй сказки, содержащей пародии на стихи декадентских поэтов, вызвало письмо к Горькому Ф. Сологуба, заявившего: «...Ваша «Сказка», помещенная в «Русском слове» 16 декабря, метит в меня». Поводом для Сологуба к отождествлению себя с Смертяшкиным послужил не только введенный в «Сказку» образ жены Смертяшкина, издававшей «отдельными томиками» рецензии о стихах мужа (сборник статей о Сологубе издала жена Сологуба Чеботаревская), но и тот факт, что Горький в статье «Изда-лека» («Запросы жизни», 1912, № 27, 6 июля) привел сводку цитат из стихов Сологуба, прославляющих смерть. В ответном письме Сологубу Горький отвергал направленность «Сказки» против него, указывая: «Прочитав мой фельетон более спокойно, Вы, вероятно, поняли бы, что Смертяшкин это тот безымянный, но страшный человек, который все, — в том числе Ваши идеи, даже Ваши слова — опрощает, тащит на улицу, пачкает, и

которому, в сущности, — все, кроме сытости, одинаково чуждо». В самом деле, пародия Горького метила не столько в Сологуба, сколько в декадентскую поэзию вообще: «кладбищенская поэзия» была характерна для Сологуба в такой же мере, как для других представителей этого направления. В частности, как указал впоследствии Горький, в «Сказке» содержится пародия на стихи З. Гиппиус «Цветы ночи» («О, ночному часу не верьте...»). Однако несомненно, что одной из задач «Сказки» являлась нейтрализация влияния на молодежь той проповеди пессимизма, которая содержалась в творчестве Сологуба и вредность которой Горький отметил в своей статье «Изда-лека» («...Сологуб обещал «бесстрастно смерть прославить» и — славит ее, а как это бесстрастное прославление смерти подействует на измученных и усталых людей его родины в тяжкий и больной момент, переживаемый ими, — это его не занимает»).

Стихотворение Смертяшкина «Маленькая девочка ходит среди сада...» представляет собой пародию на «поэзу» Северянина «В парке плакала девочка».

Стихи Кермани и Винченцо (из «Сказок об Италии»). Стихи поэта Кермани включены в девятую из «Сказок

об Италии», помещённых в собрании сочинений («Прославим женщину-Мать, неиссякаемый источник всепобеждающей жизни!»). Эта сказка впервые напечатана в 1913 г. в сб. «Сказки». Стихи маляра Винченцо включены в четырнадцатую из «Сказок об Италии» («У двери белой кантины, спрятанной среди лоз...»), напечатанную впервые в «Звезде», 1912, № 6, 2 февраля.

Песни из очерка «На Чангуле».

1. («Темная дорога ночью среди степи...»),
2. («Ой, Мара!»). Очерк впервые напечатан в 1918 г. (в сб. «Ералаш и другие рассказы»). Оба стихотворения представляют собою самостоятельные произведения, созданные Горьким на сюжетной основе песен румынской девушки-поэтессы. Сюжет первой песни, переданный в прозаическом перерассказе работника, таков: «Боже мой, боже! страшная дорога ночью в степи, а я — сирота, как луна в небе. Будь что будет, устала я ждать счастья, боже мой, господи!.. Сожгут луну зарницы, а меня тоска сожжет. Боже мой, — лукавая девица я! Буду счастливой, посею цветы на твоей земле...» Сюжет второй песни: «Пришел под окно к девице разбойник и говорит ей: ой, Мара... скоро я умру, полюби меня... принес он ей награбленное и просит — полюби, я хоть старик...». Сочинившая эти песни

девушка, после убийства ее жениха и совершенного над ней разбойниками насилия, лишилась рассудка. Впечатления от перенесенной ею трагедии причудливо сочетаются в этих песнях безумной поэтессы с любовной романтикой.

Стихи дьякона (из «Жизни Клима Самгина»). Роман печатался Горьким начиная с 1934 г. (три тома вошли в собрание сочинений, четвертый вышел в 1937 г. отдельным изданием). О своих стихах дьякон говорит: «Смолоду одержим стихотворной страстью, но конфужусь людей просвещенных, понимая убожество свое...» Стихи весьма оригинальны как по форме, так и тем «богохульским духом», который придает им в устах дьякона особый колорит. Не менее характерен для психологии дьякона и другой эпизод с чтением стихов: «Согнувшись так, что борода его легла на стол, разводя по столу руками, дьякон безумно забормотал:

Присмотрелся дьявол к нашей жизни,
Ужаснулся и завыл со страха:
«Господи! Что ж это я наделал?
Одолел тебя я, — видишь, боже?
Сокрушил я все твои законы,
Друг ты мой и брат мой неудачный».

... Вот что сочинял... Забыл дальше-то...
В конце они:
Обнялись и оба горько плачут...»

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
Горький и поэтическое творчество	
Статья <i>Б. С. Мейлаха</i>	5

Отдел первый

Песня о Соколе	65
Прощай!	73
В Черноморье („Знойно. Тихо... Чуд- ный вид!“)	74
Песня о Буревестнике	77
Монолог Васьки Буслаева	79
Легенда о Марко	80
А кто там идет (из Янки Купалы)	82
Из дневника	83
Девушка и смерть. Сказка	86
Баллада о графине Элен де Курси	95

Отдел второй

О чижике, который лгал, и о дятле — любителе истины	103
О маленькой фее и молодом чабане. Валашская сказка	114

Отдел третий

Песнь Рагнара (из рассказа „Возвращение норманнов из Англии“) („Мы рубились мечами в пятьдесят одной битве...“)	169
Песня из пьесы „На дне“ („Солнце всходит и заходит...“)	171
Стихи Калерии и Власа (из пьесы „Дачники“).	
Стихи Калерии („Осени дыханием гонимы...“)	172
Стихи Власа („Маленькие, худые людишки...“)	172
Стихи Лизы и Вагина (из пьесы „Дети солнца“):	
Стихи Лизы („Орел поднимается в небо...“)	174
Стихи Вагина („Как искры в туче дыма черной...“)	175
Стихи Лизы („Милый мой идет среди пустыни...“)	175
Стихи Симы Девушкина (из повести „Городок Окуров“)	177
Из „Русских сказок“	181
Стихи Кермани и Винченцо (из „Сказок об Италии“)	
Стихи Кермани („Что прекрасней песен о цветах и звездах...“)	203
Стихи Винченцо („На берег пустынный, на старые серые камни...“)	204

Песни из очерка „На Чангуле“	
„Темная дорога ночью среди степи...“	205
„Ой Мара!“	206
Стихи дьякона (из „Жизни Клима Самгина“)	208
Примечания	213

Ответственный редактор *И. А. Груздев*
 Художник *В. Двораковский*
 Технич. редактор *А. Карнарская*

М 07633 Подписано к печати 14/XI 46 г. Зак. № 894.
 Тираж 20000. Печ. л 7 1/2. Уч.-изд. л. 6,7
 Авт. л. 7,0 Цена 7 р. 50 коп.

Типография № 3 Управления издательства и полигра-
 фии Исполкома Ленгорсовета

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

<i>Стр.</i>	<i>Стро- ка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
13	3 ст.	романская	романсная
75	12 "	на них	на их
191	6 ст.	С агмант!	Charmant!
224	13 "	перерасказе	пересказе

М. Горький. Стихотворения.

79.55k.